

84(2Рос)

30,

М 30



НАРОДЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА

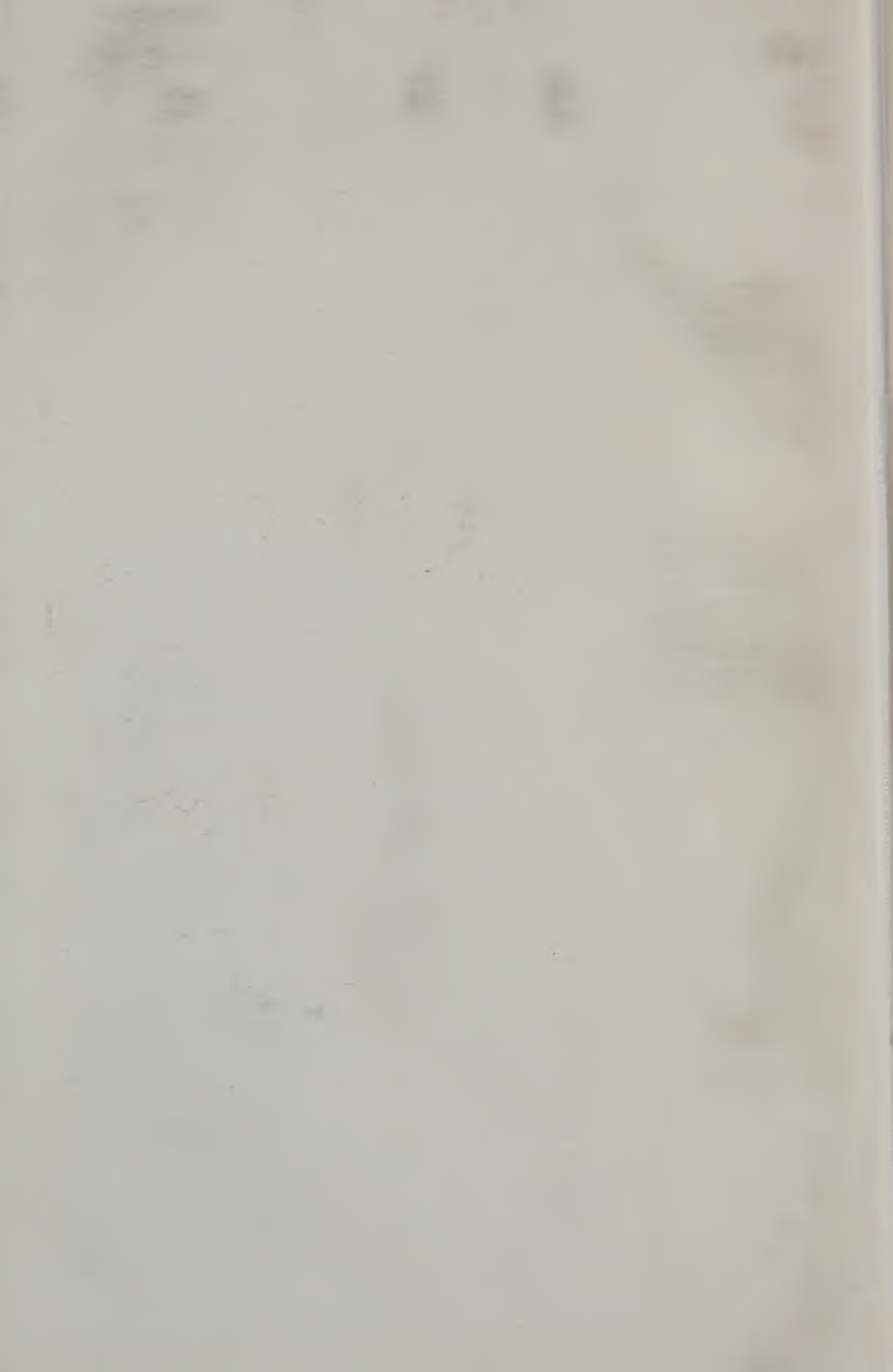
ОГИЗ

Свердлгиз

1937









НАРОДЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА

Составил Вл. А. Попов

1937

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСК

из книг
М.А.
Серия

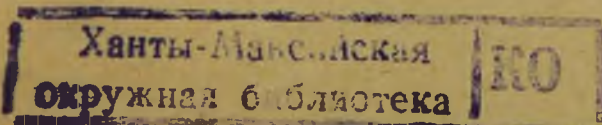
НАРОДЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА



Очерки и рассказы

К Л И М О В А.
М А Л Е Н Ь К И Й А.
Н О С И Л О В К.
П А Н О В И.
П И Н Ъ Ж А К О В В.
Ч Е Р Н Е Ц О В В.
и др.

- 44138 - 1937
СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСК



Сборник — в очерках и рассказах — знакомит с прошлым и настоящим народов Северного Урала: манси (вогулов), хантэ (остяков), коми-пермяков и ненцев („самоедов“), с их жизнью, особенностями быта и культурным развитием в условиях социалистического строительства.

Сборник, кроме того, дает представление о природе края, населяемого этими народами.

Рассчитан сборник на широкого читателя.

Фото Б. Рябинина.

НАРОДЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА

„...Раньше „принято было“ думать, что мир разделен искони на низшие и высшие расы, на черных и белых, из коих первые неспособны к цивилизации и обречены быть объектом эксплуатации, а вторые являются единственными носителями цивилизации, призванными эксплуатировать первых. Теперь эту легенду нужно считать разбитой и отброшенной. Одним из важнейших результатов Октябрьской революции является тот факт, что она нанесла этой легенде смертельный удар, показав на деле, что освобожденные неевропейские народы, втянутые в русло советского развития, способны двигаться вперед действительно передовую культуру и действительно передовую цивилизацию ничуть не меньше, чем народы европейские“.

СТАЛИН.

(„Правда“ № 255, 5—7 ноября 1927 г.)

После великой Октябрьской социалистической революции на Северном Урале, так же как и во многих других краях б. России, пришли к национальному возрождению и вновь стали развиваться народы, находившиеся до этого на пути к одичанию и вымиранию.

К ним относятся манси (вогулы), хантэ (остяки), ненцы (носившие унижительную кличку „самоеды“) и коми-пермяки.

В свое время буржуазные исследователи пытались объяснить угасание северных народов фальшивой „теорией“ о „нестойкости их в борьбе с суровой природой“ и т. д.

Попытка эта вытекала, конечно, из определенного классового задания, — надо было найти оправдание политике своих

хозяев, политике капитализма, направленной к „цивилизаторскому“ порабощению и грабежу „инородцев“.

Истинная причина одичания и вымирания народов Северного Урала, которую упорно скрывали буржуазные исследователи, крылась в другом — в крайне тяжелых социальных условиях, созданных капиталистическим хищничеством.

Кроме ясака¹ и поповских поборов, подъясачные туземцы должны были еще давать „поминки“ (подарки). Бедняки вместо ясака обязаны были отбывать ямскую службу, разыскивать и прокладывать новые дороги, строить мосты, возить дрова для нужд государственной службы, платить подать рыбой, кожами, сумами, ремнями, берестой, тянуть бечевой суда, сопровождать хлебные и другие обозы и вообще „служить всякие государственные службы, куда воеводы их пошлют“.

В 1618 году салымские ханты „били челом“ о тяжести ясака, доходившего до 11 соболей с человека, причем ясак этот собирался не только с охотников, но и со старых и с больных.

Пушнина при сборе ясака расценивалась ниже ее стоимости, лучшие меха присваивались сборщиками и воеводами, которые, кроме того, выезжали со своими семьями „на прокорм по волостям“. „Подарки в почесть государю“ утаивались, „лучших людей“ захватывали до уплаты за них выкупа, производили вооруженные нападения на хантэйские и мансийские становища, обращали жителей их в рабство, отнимали жен и дочерей, продавали их или обращали в наложниц, били заключенных батогами, заковывали в цепи, колодки, подвешивали на дыбе и всячески истязали.

Так действовали царские чиновники.

Не отставала от чиновников и „православная“ церковь, с той лишь разницей, что эксплуатировала она туземцев с „дипломатическим подходом“, наставляя их на „путь христов“...

„Наставления“ эти, однако, носили нередко весьма недипломатический характер. В 1710 году в грамоте сибирскому митрополиту Филофею Петр I писал: „Послать людей по Оби... где найдут по юртам остятским их прелестные мнимые боги шайтаны, тех огнем палить и капища разорить... часовни строить, иконы поставлять... и остяков приводить ко крещению“. В такой же грамоте Петра I, датированной 1714 годом, сказано еще более решительно:

„...А кто учинит противность — казнить“.

¹ Натуральная подать.

„Православное“ духовенство рыскало по юртам, палило, рубило, разоряло и... крестило „язычников“. А по пути конкурировало со скупщиками пушнины...

В XIX столетии, — в период, предшествовавший революции 1905 года, — самодержавие организовало для декорации туземные управы — призрак самоуправления „инородцев“, превратившиеся в дополнительное орудие угнетения народов Северного Урала.

Туземные (или — „инородческие“, как они назывались) управы занимались не только рассмотрением „инородческих дел и тяжб“, но и содействовали переходу рыбных угодий от „инородцев“ — вотчинников в руки русских рыбопромышленников. Какой-нибудь рыботорговец спаивал водкой хозяев рыбных угодий или так называемых рыбных песков, подписывалась бумага, на которой безграмотный хант или манси ставил тамгу. Затем хозяин поступал к рыбопромышленнику в рабочие, ловил рыбу на своих угодиях и сдавал ее рыбопромышленнику.

Через ряд лет „священный“ закон частной собственности поворачивался к хозяину-туземцу спиной, так как рыбопромышленник доказывал, что, согласно сделке, угодия принадлежат ему, а инородческая управа свидетельствовала, что на бумаге подпись-тамга действительно сделана бывшим хозяином угодий. Споры были бесполезны и „инородец“ оказывался ограбленным с соблюдением закона и при содействии органа, созданного для „охраны прав инородцев“.

Гонимые бесправием, притеснениями русских купцов и чиновников, манси, хантэ и ненцы все дальше и дальше уходили на север, селились по притокам Оби, в тайге, кочевали по тундре.

Хантэ и манси строили себе бревенчатые юрты с чувалом (глиняным камином), ненцы ограничивались переносными чумами — зимой крытыми шкурами оленя (нюги), а летом берестой, проваренной в воде с золой.

Занимались они зимой охотой, а летом и осенью выходили на рыбные промыслы. Рыбу сажали в так называемые „сады“. С наступлением холодов рыбу замораживали и отправляли зимним путем на Тюмень, в Екатеринбург.

На зимнюю Обдорскую ярмарку ненцы возили лапы и лбы оленя, идущие на пошивку обуви и подшивку лыж, сделанные из оленьего меха малицы, гуси, пимы, чижи, ремни из тюленьей и моржовой кожи, а хантэ и манси — изделия лесной полосы — деревянные и берестяные предметы домашнего

обихода, рыбий жир, изделия из кедрового корня — корноватики, кедровую смолу для заливки лодок, изделия из крапивного волокна, веревки из ивовой коры — лычаги, нарты, лыжи, погонные олени шесты — хорей, лодки-колданки, которые можно поднять одной рукой, весла, чирканы, пасти, луки и стрелы и пр.

Каждый свой шаг хантэ, манси и ненцы „согласовывали“ с шаманом, который спрашивал „духа“ — будет ли хорош и удачен промысел. В уплату шаману отдавались лучшие олени от стада, лучший осетр или нельма от рыбной ловли, лучшая лисица или соболь от охоты...

Таковы, вкратце, общие черты положения народов Северного Урала до Октябрьской революции.

С Октябрем, как мы уже говорили, в жизни этих народов наступил резкий перелом, завершившийся их национальным возрождением.

Возникли туземные родовые советы. Затем ватажные советы. Туземцы были освобождены от налогов. На север был прекращен ввоз спирта.

Туземные и ватажные советы организовывали учет территории и населения, содействовали развитию промыслов, кооперированию национального населения.

В кочевых районах туземные советы передвигались вместе с населением, оказывали через хлебозапасные магазины помощь при стихийных бедствиях (наводнение, невыход зверя, неулов рыбы), выявляли национальный актив, продвигали его на хозяйственную и советскую работу, содействовали развертыванию работы здравоохранения, ликвидации неграмотности и т. д.

В 1929—1930 году родовые туземные советы были реорганизованы в территориальные национальные советы. В 1931 году организованы Ямальский (ненецкий) и Остяко-вогульский округа в составе: 11 районов, 49 национальных советов, 19 сельсоветов и одного поселкового совета.

Вымиравшее прежде население Северного Урала теперь неизменно растет. В некоторых районах прирост населения достигает уже 3,74%.

За время существования советской власти национальное население Северного Урала в общей сложности увеличилось больше чем на 20%.

В национальных округах бурно разворачивается промышленность, выстроено несколько рыбо-консервных передвижных фабрик, консервные комбинаты в Сале-Харде, Самарове, Сургуте, в Новом порту с общей продукцией более 41 млн.

банок. Создана лесопильная промышленность, выстроен экстракционная годный завод, выстроены кирпичные заводы в Самарове, Белогорье, Березове, Казыме, в Сале-Харде, на реке Надым. В Сале-Харде и в Самарове выстроены электростанции. В лесной полосе, не знавшей хлебопашества, начали работать машиннотракторные станции. Моторные рыболовные станции помогают рыбакам организовать облов рыбных песков, механизуют рыбный лов. Для приемки на местах свежей рыбы оборудован пароход-рефрижератор, замораживающий летом свежепойманную рыбу и доставляющий ее в мороженом виде в Тюмень и Омск, где она перегружается в железнодорожные холодильники, поступая потом через железнодорожную сеть во все большие города Союза.

Растет и рабочий класс Северного Урала. Не знавшие машин, рыбаки и охотники управляют теперь моторами, тракторами, работают на консервных фабриках, водят катера, несут лоцманскую службу и т. д.

Продукция рыбной ловли по сравнению с дореволюционным временем выросла вдвое, а пушные заготовки увеличились в несколько раз. Растут олени стада оленеводческих колхозов. Для борьбы с заразными заболеваниями оленей организован в Сале-Харде оленеводческий бактериологический институт, давший много ценных указаний по развитию оленьего хозяйства.

Развертывается мясное и молочное животноводство, используются поемные луга Оби и Иртыша, организуются животноводческие совхозы, молочные фермы.

На рыболовных промыслах и консервных комбинатах выкармливают свиней, используя для этого рыбные отходы, ликвидируют страшную северную болезнь—цынгу.

Северный Урал сделал также большой шаг к планомерному развитию огородных культур и тепличному хозяйству.

Зажглась на севере Урала лампочка Ильича, невиданная ранее туземцами. В тундру и урманы проникает радио. С 1934 года установлено радиовещание на языках хантэ, ненцев и манси.

Вместо прежних жалких миссионерских школ с единичными учащимися, развернута сеть школ первой ступени, лесопромышленных школ, школ промысловой молодежи, школ семилеток, педтехникум, медтехникум, оленеводческий техникум с подготовительными к ним отделениями, березовские курсы туземного актива, рыбтехникум, курсы связи и ряд краткосрочных хозяйственных курсов.

Для каждого народа организованы культбазы. Для хантэ организована база на реке Казым, для манси — такая же культбаза на реке Сосьве, для кочевников организовано две культбазы — одна в Ямальском, а другая в Тазовском районе.

Развернута широкая сеть домов туземцев, созданы красные уголки, избы-читальни, библиотеки, музеи, отделения книжных баз, отделения Союзкино и кино-театры.

Народы Северного Урала, не знавшие ранее письменности, не имевшие своей литературы, сплошь неграмотные, сейчас имеют свою азбуку, свои газеты (на национальных языках) и создают свою национальную литературу.

Северный Урал обогатился свыше чем двумя десятками больниц с амбулаторным приемом, зубоврачебными кабинетами, 40 фельдшерскими пунктами, заразными бараками, десятками передвижных медицинских отрядов. Открыта пастеровская станция. Развернута сеть ясельных коек, женских консультаций, дезинфекционных пунктов, аптеки, аптечные склады, рентгеновские кабинеты. Вместо шамана ненцы, хантэ и манси идут к врачу в больницу и амбулаторию.

Прежняя оторванность манси, ненцев, хантэ от культурного мира исчезла — вдоль всего Севера, так же, как и через Северный Урал, проходит Великий северный морской путь, являющийся одним из могучих стимулов развития народов Севера. И мы знаем примеры, когда в отдаленные зимовки к случайному больному призывают на помощь врача, консультирующего по радио и, в случае необходимости, вылетающего на самолете.

Так живут ныне переставшие быть „инородцами“ — равноправные члены славной семьи народов Советского союза: манси, хантэ и ненцы, так живут и коми-пермяки.

Партия Ленина — Сталина неизменно ведет их по пути все большего хозяйственного и культурного развития.

Великая Сталинская конституция озаряет этот путь новым ярким светом.

В. Пиньжаков.

МАНСИ

ИЗ ИСТОРИИ МАНСИ

Есть на Северном Урале селение Никито-Ивдель. Затерялось оно в лесной глуши.

Вокруг на десятки и сотни километров во всех направлениях — замшелая вековая тайга, горы, покрытые лишайником и карликовыми березками, порожистые бурные речки, болота.

За этим селением, в тайге, живет несколько кочующих семей, называющих себя „манси“.

Зимой они охотятся в тайге на пушного зверя, а весной уходят с оленьими стадами за сотни километров в горы, в хребты Ялпинг-ньер и Оше-ньер, к Молебному, Белому, Чувальскому камням, а то и дальше в верховья реки Печоры. Оленям нужны хорошие пастбища, оленей надо спасать от овода.

Осенью манси снова возвращаются в свои таежные жилища.

Изредка на улицах Никито-Ивделя встречается человек в ярко расшитой малице. У человека выдавшиеся скулы, глубоко посаженные и резко очерченные глаза, черные, смолевого цвета волосы. Он нетороплив в движениях, спокоен, говорит негромко, словно взвешивая каждое слово.

Это — манси.

Он невольно привлекает внимание...

Откуда же взялся в северной уральской тайге этот крохотный, мало известный еще народ?

* * *

Прошлые манси окутаны легендами, догадками и поэтическими преданиями. Крупнейшее в дореволюционной России многотомное географическое издание „Россия“, вышедшее

под руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского, в пятом томе, касаясь этого вопроса, рассказывает любопытные вещи:

„Первые смутные полуисторические предания о Приуралье и его обитателях относятся, если дать простор более остроумным, чем основанным на действительных фактах, догадкам... еще к глубокой древности. К таким догадкам относится, например, предположение, что баснословные сказания Геродота, Диодора Сицилийского и Полибея о блаженных *ипербореях* могут иметь отношение к древним обитателям нашей области (т. е. Урала и Приуралья. А. М.), что *иседоны* были племенем, занимавшим долину р. Исети, даже больше того — под геродотовыми *будинами* (рыжеволосые, с голубыми глазами) будто бы, надо разуместь вотяков, что о них же упоминает Плиний под именем *арамеев*, что город Гелон, до которого добрался Дарий Гистасп, преследуя скифов (512 год до Р. Х.), стоял будто бы бок-о-бок с нынешней Елабугой... Саксон Грамматик повествует о каком-то пермском короле Кузо, который царствовал еще до рождения христового... О пермяках, как о весьма древнем народе, говорит византийский историк Халкокондил... Одним из первых действительно исторических свидетельств является рассказ Ибн-Даста о *приуральской чуди*, которая на зиму поселялась в ямах, покрытых деревянной крышей и засыпанных сверху землей“.¹

Некоторые историки доказывают, что еще древние греки вели торговлю через Черное море, Дон, Волгу, Каму с народами, населявшими Приуралье, обменивая здесь товары на пушнину и драгоценные камни.

Во всяком случае то же уже цитированное нами издание указывает:

„Необыкновенное и, можно сказать, единственное во всей Европейской России развитие посевов полбы на территории бывшей Камской Булгарии косвенно указывает на древность земледельческой культуры западного Приуралья и Прикамья. Полба — хлеб, упоминаемый Гомером. Весьма вероятно, что, получая главную массу пшеницы от скифов из пределов нынешней Новороссии (авторы географического издания подразумевают под этим термином Украину. А. М.), древние греки получали в то же время полбу с Волги и Камы посредством Волго-Донской переволоки, через свою колонию Танаис в устьях

¹ См. „Россия“. Полное географическое описание нашего отечества“, том V. Урал и Приуралье. стр. 128.



Мансийка с ребенком.

Дона... Затем древние греки, знавшие больше по наслышке Рипейские, Римнийские и Норосские горы (Северный, Средний и Южный Урал), при посредстве скифов получали, повидимому, от здешних инородцев (такой презрительной кличкой называли в царской России покоренные народы. А. М.) нужные им для изящных изделий драгоценные камни и металлы“.

В скандинавских сагах (былинах) можно найти опоэтизированные рассказы о стране Биармии, расположенной в Приуралье, в верховьях Камы, о ее сказочных богатствах, о главном божестве Иомале и о храме, ему посвященном, усыпанном драгоценными камнями, наполненном изделиями из золота. Это не случайно. Скандинавы издавна хаживали речными путями на Восток к Уральскому хребту в погоне за ценной пушниной и камнями. Иначе откуда бы взяться Биармии в скандинавских сказаниях? Пушные богатства полулегендарной Биармии, ныне — Перми, издавна привлекали к себе внимание и скандинавов, и древних греков, и других народов.

Только постепенно, для позднейших времен, начинают проясняться контуры древнейшей истории манси. Уже бесспорными данными доказано, что Биармию населяли пермяки, а затем народ, носивший название югра или чудь, который и является прадедом сегодняшних манси. Находки при раскопках в Прикамье и по рекам Колве и Вишере доказывают существование здесь страны, о которой пели в сагах скандинавы. Археологи раскопали остатки городищ и крепостей. Они доказывали, что народы, населявшие Приуралье, уже в глубокой древности умели выплавлять примитивным способом металлы, владели кузнечным искусством, делали вещи из бересты, занимались сельским хозяйством и скотоводством, имели свои религиозные представления и вели обширную торговлю с дальними странами. Биармия-Пермь торговала с Византией, Ираном, Китаем. Еще и сейчас в деревнях, расположенных по Вишере, нередко находят клады древних монет или серебряных изделий иранского и византийского происхождения. Большинство предметов, составляющих мирового значения коллекцию так называемого восточного серебра, хранящуюся в ленинградском Эрмитаже, доставлено именно отсюда. Предметы эти попадали в Пермь по Волге, служившей в свое время средоточием товарообмена между народами Европы и Азии. Особенно много находок относится ко времени иранской династии Сассанидов (226 — 651 годы н. э.). Именно с этих пор и начинается история народа манси, которую можно доказывать фактами, вещами и документами.

Первый письменный документ о Биармии-Перми дал в 870 году норвежец Отер. Он писал, что не мог проникнуть в глубину страны и вывез только меха и моржовые клыки.

В конце десятого века уральская югра или чудь появляется и в русских письменных документах. Летописец Нестор в 1096 году записал со слов новгородца Гюряты Роговича, посылавшего своего отрока в Югру. Отрок, видимо, основательно наврал, рассказывая о том, что югорцы прятались от него и вели с ним разговоры через маленькие оконца. Тогда же пошла сказка, о том, что в местах, населенных югрой, векши (белки) и молодые олени падают на землю из туч подобно дождю.

Эти записи были первыми вестниками величайшей трагедии, разыгравшейся на Востоке на протяжении нескольких столетий и закончившейся катастрофой не для одного только народа манси.

Знаменитый летописец! Знал ли он, делая в летопись первую русскую запись об Югре, что строки его окроплены кровью и что отрок Гюряты Роговича ходил на Уральский Север с вооруженной дружиной для сбора дани и что не югорцы прятались от него в страхе, а он, побитый пермяцкой ратью, позорно бежал. Еще раньше, в 1032 году, югра или вогулы-манси побили новгородскую дружину, ходившую под начальством Улеба собирать дань. Так началась война, продолжавшаяся несколько сот лет.

Богат и знатен был тогда Великий Новгород — Генуя северных морей. Ветер раздувал белые паруса, и корабли бороздили воды Балтики, расходясь в дальние моря и океаны. Великий Новгород хорошо торговал льном, а из льна тогда делали, в частности, и паруса. Парус же заменял на судах двигатель. Парус двигал вперед мировую торговлю. Но главным богатством Великого Новгорода была „мягкая рухлядь“ — горы соболиных, бобровых, куньих, лисьих, горностаевых мехов, расходившихся из Новгорода во все страны тогдашней Европы. Пушнина, а не металлические деньги были тогда подлинной валютой. Великий Новгород одевал в меха европейскую феодальную знать. На „мягкой рухляди“ покоилось богатство и благополучие Великого Новгорода.

Пушнину Новгород брал на Севере. В погоне за мехами новгородские люди проникали все дальше на восток. Рассказы о том, что еще дальше на востоке, в Югре, пушные зверьки попросту падают из туч, будоражили воображение и заставляли

глаза загораться огнями жадности. Вот где оно, настоящее богатство! Вот где ждет новгородцев настоящая добыча!

И шли на восток посланцы великого Новгорода — ушкуйники и купцы. Новгороду грезилось, что он легко и просто приберет к рукам Югру, обложит ее данью, и пойдет по миру новая слава богатого северного города. Но первые дружины, попытавшиеся обложить югру данью, были биты, и те, кто сумел уйти с Уральского Севера, и живыми вернуться домой, приносили новые сказки о богатствах и рассказывали легенды, будто в Югре живет народ, именуемый чудаками, а чудаки те огромного роста и великой силы, и воевать с ними не легко.

И зрела жадность. Партии новых новгородцев уходили на Север, пробирались на лодках по рекам — естественным просекам, которые прорубила в непроходимых дебрях природа. Плыли против течения, натирая на руках кровавые мозоли, перетаскивали лодки сушей через волоки и отдыхали потом, отдавшись попутному течению. И дивились изобилию земель, которые видели. Кусок за куском новгородцы прихватывали эти земли вместе с людьми, которые на них жили, облагая их данью. Великий Новгород обрастал на Севере „волостями“, вплотную подбираясь к Перми. Затем Новгород ворвался в Пермь, подчиняя себе пермяков и зырян. Уже писалась и Биярмия — Пермь Новгородской волостью и платила дань Новгороду. За дружинами шли попы, монахи и миссионеры. Они основывали монастыри, вели религиозную пропаганду и где силой, где лестью, где подарками обращали народы в христианство. В 1378 году епископ Стефан, произведенный потом в „святые“, крестил пермяков. За 18 лет миссионерской деятельности он обратил в христианство сысольских и вычегодских пермяков. Но новгородцы удивлялись: каждый раз, как они сталкивались с югрой — вогулами, их встречало ожесточенное сопротивление. В 1187 году югра победила новгородских сборщиков дани. В 1193 году новгородцы послали рать под командой Ядрея, но и эти были биты, в 1323 году новгородская рать сумела взять добычу — дань, но была разбита на обратном пути. В 1329 году за югру заступились устюжане и не пустили туда новгородцев. В 1357 году поход на югру Семена Колыванова закончился гибелью и дружины и его самого. В 1446 году Новгород предпринял еще один поход на югру. Василий Шенкурский вел рать из трех тысяч человек, но и на сей раз новгородских воинов ждало жестокое поражение.

Конечно, и другие места сдавались новгородцам не без боя, не без сопротивления, но отпор, который завоеватели получали со стороны югры, был наиболее сокрушительным. Воинственные вогулы-манси каждый раз выигрывали схватки, и новгородские воины рассказывали, что в тех случаях, когда вогулы-манси не могли победить, они, желая избежать позора поражения, сами себя закапывали живыми в землю. Воинственный, героический народ! За триста с лишним лет войны на Севере Новгород покорил обширные области, построил городки, крепости и остроги, наставил на территории Перми свои поселения. Новгородские купцы Калининковы основали соляные промыслы и город Соли-Камские. Одного не мог добиться Новгород — победы над вогулами-манси. Тут он каждый раз проигрывал. Но теперь покоренные области подходили вплотную к исконным местам, занятым вогулами. Правда, кругом еще кипела борьба, но в Усть-Выме на Вычегде жил епископ — там был центр миссионерской деятельности, — и Новгород эксплуатировал Приуралье.

Как раз в это время — в середине XV столетия — уже затмевалась счастливая звезда Великого Новгорода и восходила по ступеням истории новая сила — Московское княжество...

* * *

Московские князья! Манси приняли на себя их жестокие, беспощадные удары. Прошлые победы окрыляли манси. В 1456 году мансийская (вогульская) рать под начальством князя Асыкии и его сына Юшмана двинулась в поход на запад против завоевателей. Она достигла Усть-Выма на Вычегде, вторглась в город и жестоко расправилась с епископом Питиримом. Питирим был убит. Это была последняя победа манси. В том же 1456 году московские князья послали рать, и манси были разбиты, а князья их Колпак и Течик взяты московскими войсками в плен. Силы манси были надломлены.

Тяжела была рука московского княжества, жгучи пули его ружей, остры секиры. Густо полилась на Урале кровь. В 1468 году новая московская рать прошла по Каме, уничтожая и испепеляя все на своем пути. Еще через 90 лет после этого похода, уже при Иване Грозном, земли Камы считались пустынями — их очистила рать князей Руно и Званца, очистила от людей и поселений.

Один за другим следуют воинские походы на Югру, — и каждый новый поход был кровавее предыдущего. И каждый уносил сотни и тысячи человеческих жизней, расстилал гроз-

вые черные тучи над народом манси. В 1472 году рать под командованием Федора Пестрого и Гаврилы Нелидова хозяйничала, жгла и разрушала селения на берегах северной Камы, Вишеры и Колвы. В 1481 году был новый поход, а в 1499 году княжеская Московия нанесла манси крутой и решительный удар: рать под командой князя Курбского, Ушатого и Гаврилова прошла с боями все Предуралье, перевалила хребет и ушла далеко на север, положив начало нынешнему городу Березову. Рать разгромила мансийский (вогульский) город Лоповожь-пуль (Лопынг-уж) и, кроме того, сожгла еще 41 городок, взяв в плен 50 князей и 1009 воинов.

Это было поражение, от которого манси не могли быстро оправиться. Мужественный народ защищался. Он не складывал оружия. Еще на сотни лет борьбы нашел в себе сил народ манси, но схватка шла в неравных условиях. Манси имели только отвагу, храбрость и примитивное вооружение, московские воины шли во всеоружии: охотничий лук не мог противостоять ружью.

С запада на восток двигались русские „выкликанцы“ — переселенцы, соблазненные слухами об изобилии и богатствах Северного Урала и Предуралья. На завоеванных местах московские князья ставили острожки, крепостцы, рассылали своих агентов, закрепляя за собой вновь завоеванные территории. Манси уходили на восток за хребет и там их ждали жестокие клещи: с запада несли смерть московские ратники, с востока и юга нажимали сибирские татары. Обессиленные многовековой борьбой, манси уже не могли сопротивляться на два фронта: и против русских, и против татар. Они уступили руководящую роль татарам и не раз ходили с татарами в набеги на московские города и крепости по ту сторону Урала (1505 год — поход тюменского князя Култук-Салтана, 1531 год — поход нагайских татар). В 1569 году народ манси склонил голову перед татарским ханством. Манси дрались вместе с татарами против Ермака. И еще раз ярким пламенем вспыхнула надежда, выделились вожди, сумевшие организовать истощенный борьбой народ. В 1581 году — в год похода Ермака — мансийский (вогульский) князь Бегбелий с ратью из хантов и манси вторгся во владения Строгановых по Чусовой и Сылве и возжег там костры мщения. В том же году другой князь по имени Кахек совершил с мансийской ратью грандиозный поход: выйдя из Пелыма, — городка, расположенного на азиатской стороне хребта, — он с боями прошел несколько сот километров до Кайгорода в верхнем течении Камы.

Это была последняя вспышка. Московские князья ответили новым походом. Мансийский город Пелым был сожжен и разрушен, а на его месте выстроен новый русский Пелым. Позднее историки русского империализма писали, что этот факт положил конец вооруженной и кровавой борьбе с Югрой, продолжавшейся, по вычислениям этих историков, 632 года.

Шесть с половиной веков борьбы! Семь-восемь человеческих поколений сменилось на земле раньше, чем завоевателям удалось сломить волю манси. На Каме уже крепко сидели Строгановы, владевшие к тому времени свыше чем восемью миллионами десятин земли. Стался по земле дым от многочисленных соляных варниц. Росли новые города: Соликамск, Верхотурье, Чердынь, позднее Кунгур. Московские цари проложили дорогу в Азию через Уральский хребет. Сибирские татары подвергались военному разгрому. Из Сибири в Москву шли караваны, груженные ценной пушниной. Завоеватели начинали понимать толк и в металлах: московские рудознатцы искали на Урале серебро, медь, но главное назначение Урала царская Москва видела в поставке в казну пушнины. Первый царь из династии Романовых запретил кому бы то ни было ходить северным морским путём в Сибирь, опасаясь, что пушнина будет попадать в чужие руки.

Тяжелой, беспощадной рукой расправлялись московские цари с покоренными народами. Иностранцы сгонялись с исконных, освоенных ими мест, лишаясь средств к существованию.

Манси рассеивались по земле, уходили в глубь зауральских лесов. И лишь ничтожными кучками они продолжали жизнь на Вишере и в других своих исконных угодьях. Но всюду их настигали сборщики ясака и миссионеры. Миссионеры брали кого подачкой на кафтан, кого угрозами, а то просто выжили священные рожи и разрушали молитвенные места, а на тех местах ставили церкви и часовни. Страшнее миссионеров были сборщики ясака. Они забирали все: труд, возможность жить, и не было сил от них спрятаться.

Из Тулы явился Демидов и построил металлургические заводы. Урал стал основной промышленной базой государства. Уральское железо покупала Англия, но не узнать уже было в тогдашних манси некогда воинственного и отважного народа. Загнанный в глухую тайгу, он влачил жалкое существование...

Побежденный народ тяжело расплачивался за свое поражение. Манси стали „ясышными иностранцами“. С их нуждами

не полагалось считаться. Главное — ясак, пушнина! Ненасытная утроба казны проглатывала все, что могли добыть в тайге люди — манси. Казна требовала ясак еще и еще.

В 1607 году царь Василий Шуйский наложил на 35 мужчин-манси, проживавших на Вишере, ясак: 4 сорока и 15¹ соболей, т. е. 175 соболиных шкурок. Не менее того взяли местные власти.

А в 1599 году верхотурский воевода писал в Москву такое „препроводительное“ письмо:

„Посылаю с подъячим с Ондреем, с Ермолиным нашей ясачные и поминочные казны и десятильные пошлины тридцать сороков и двадцать четыре соболя, и в том числе два сорока и семь соболей с пупками, двадцать два сорока и шестнадцать куниц, четыре недокуни, двадцать четыре бобра, десять гагче ярец, одиннадцать выдр, две подчереси, семьдесят лисиц красных, шестьсот пятьдесят девять белок, два волка, шубенко белье, счерево без пупков, девяносто восемь пупков собольих...“

Это только часть ясака, сданного 120—150 мужчинами-манси. Не меньшее, а наверняка большее количество мехов прикарманил сам воевода и сборщики ясака. И еще одна любопытная деталь: сперва с манси брали только собольи шкурки, оставляя пупки (мех с брюшка), но затем, когда разыгрался аппетит, стали забирать все, включая и пупки.

Кто только не грел руки около ясака: сам царь, его ближние, воеводы, сборщики ясака, целовальники из кабаков. Во времена Федора Иоанновича Россия вывозила за границу мехов на 500 тысяч тогдашних рублей, все доходы казны составляли за год 1500 тысяч рублей. Полмиллиона рублей в те времена были гигантской суммой. Но ведь это только вывоз за границу. В несколько раз большее количество пушнины оседало внутри страны в руках власть имущих.

Даже буржуазные историки вынуждены были признавать, что „инородцы были закрепощены за государством и обложены ясаком, размеры коего не были определены и ценность пушнины не таксировалась. Эта неопределенность и была корнем для произвола воевод и других чиновников“. ¹

Завоеватели требовали одного: как можно больше пушнины! Непокорных предписывалось подавлять любыми средствами. Вслед за казной приходили купцы, несли водку и забирали пушнину: в обмен на котелок столько соболей, сколько их в котелок влезет. И стонал придавленный, униженный, со всех сторон стиснутый врагами народ манси. Болезни и „моровые“

¹ „Словарь Верхотурского уезда“ 1910 г., стр. 161.

поветрия пришли в паули. Голод стал там постоянным гостем. Манси чаще уносили на могильники мертвых, нежели принимали новорожденных. Народ вымирал, шел навстречу своей гибели. За все время существования народа манси до революции для него не существовало ни одной школы. Манси нигде было учиться. И уже нельзя было узнать в манси прежнего народа, который умел побеждать новгородцев. Даже земцы позднее писали:

„В 1679 году в г. Чердыни и во всем уезде считалось 3279 дворов и изб, считая в том числе и пустые. Западный склон Урала в обособившемся Чердынском воеводстве по-прежнему занимали ясашные вогулы и, частью, остяки. Это уже были не прежние воинственные люди, а скорее нищие“.

От тех времен сохранились в архивах страшные по силе, жуткие по содержанию документы. В 1632 году ясачные вогулы писали в жалобе царю, что: „они, ясачные люди, бедны, голодны, оскудели, а хлебу в Верхотурьи недород не по один год, а ясак на них наложен мягкой рухлядью не в силу — против денег рубли по два и больше, а емлют с них ясаку соболей по пятнадцать и больше с человека и многие ясачные люди стары и увечны, слепы и хромы, кормятся в городе меж дворы... и многие ясачные люди в том обнищали и одолжили великими долги, жены и дети поиззакладывали и разбрелись в рознь и ясак на них писан в доимке многой“.

В том факте, что манси „поиззакладывали жен и детей“ нет никакого преувеличения: жен и детей мансийских русские поселенцы действительно забирали за долги и превращали в рабов.

В 1698 году ясачные манси из села Морчан, что на реке Вишере, писали царю жалобу на русских купцов, захвативших рыболовные угодья. В жалобе, между прочим, говорилось: „а иные вогуличи от скудости сбрили в сибирские неведомые урочища на кормовые места, а у иных вогулич и промышленные наши сироты — многие собаки померли, и промышлять стало нечем. И от того, государи, голоду остальные сироты наши, боясь голодной смерти, зимою выходили с Вишеры для кормления с женишками и детишками к Чердыни, и к погостам, к русским людям, и скитаемся по миру меж дворы, и кормимся русским палым скотом, потому, государи, что мы сироты самые худые, пашен и хлеба, и скота, и дворишек, и никакого заводу не имеем“.

И еще один факт: хантэ в 1688 году заложили свои рыбные промыслы за один рубль пятьдесят копеек. Они не

могли уплатить этих денег. Не могли их заплатить и следующие поколения. В 1823 году заложенные промыслы были у хантэ отобраны.

Так выглядела нищета. Несколько раз манси пытались подняться против страшного, давившего их гнета. В 1609 году агенты правительства раскрыли большой разветвленный заговор. Такой же заговор был раскрыт в 1617 году. В 1662 году манси приняли участие в башкирском восстании. Тщетно! Силы народа были уже надломлены. Народ деградировал, шел вспять, вымирал. В 1787 году на Вишере еще насчитывалось три вогульских деревни, а через сто лет путешествовавший по Вишере профессор Крылов писал:

„Раньше здесь вели полукочевую жизнь вогулы, которые еще около двухсот лет назад владели верховьями этой реки начиная от Писаного Камня, находящегося около д. Писаной. В настоящее время осталось мало следов от их пребывания на Вишере, между тем как в народной памяти сохранились еще довольно живые воспоминания о местах бывшего жительства вогулов и о сношениях с ними. Некоторые старики-охотники, живущие и поныне, в своей молодости видели разрушенные временем остатки некоторых вогульских юрт, разбросанных по берегам Вишеры и ее притоков, выше современной деревни Акчима. Так, верст на тридцать вверх по реке от этой деревни стояла одна юрта — на правом берегу реки, другая на том месте, где ныне находится деревня Усть-Улс; верст на пять выше, третья, принадлежавшая вогулу Кондраше, как его звали русские; на две версты еще выше — Логинова юрта, остатки которой были заметны лет 35 тому назад...“¹

Словно похоронный список, профессор перечисляет мертвые остатки мансийских (вогульских) юрт. На Вишере осталась одна полуобрусевшая мансийская деревня Усть-Улс. Манси ушли на восток и частью разбились там на маленькие группы, осели на землю, утратив постепенно национальный облик и характер. Теперь потомков этих людей уже ни в чем нельзя было отличить от окружающего их русского населения. Только многочисленные мансийские слова, вошедшие в лексикон северного населения, свидетельствуют о происшедшем смешении. Но наиболее значительная часть манси ушла в тайгу, забралась в глухие трущобы.

Народ, разбитый на осколки, нищал, вымирал. Приближалась катастрофа. Казалось: приближается день, когда уйдет

¹ Сборник „Урал“, Свердловск, 1926 г., стр. 64.

в могилу последний манси и память о существовавшем когда-то народе станет книжной памятью...

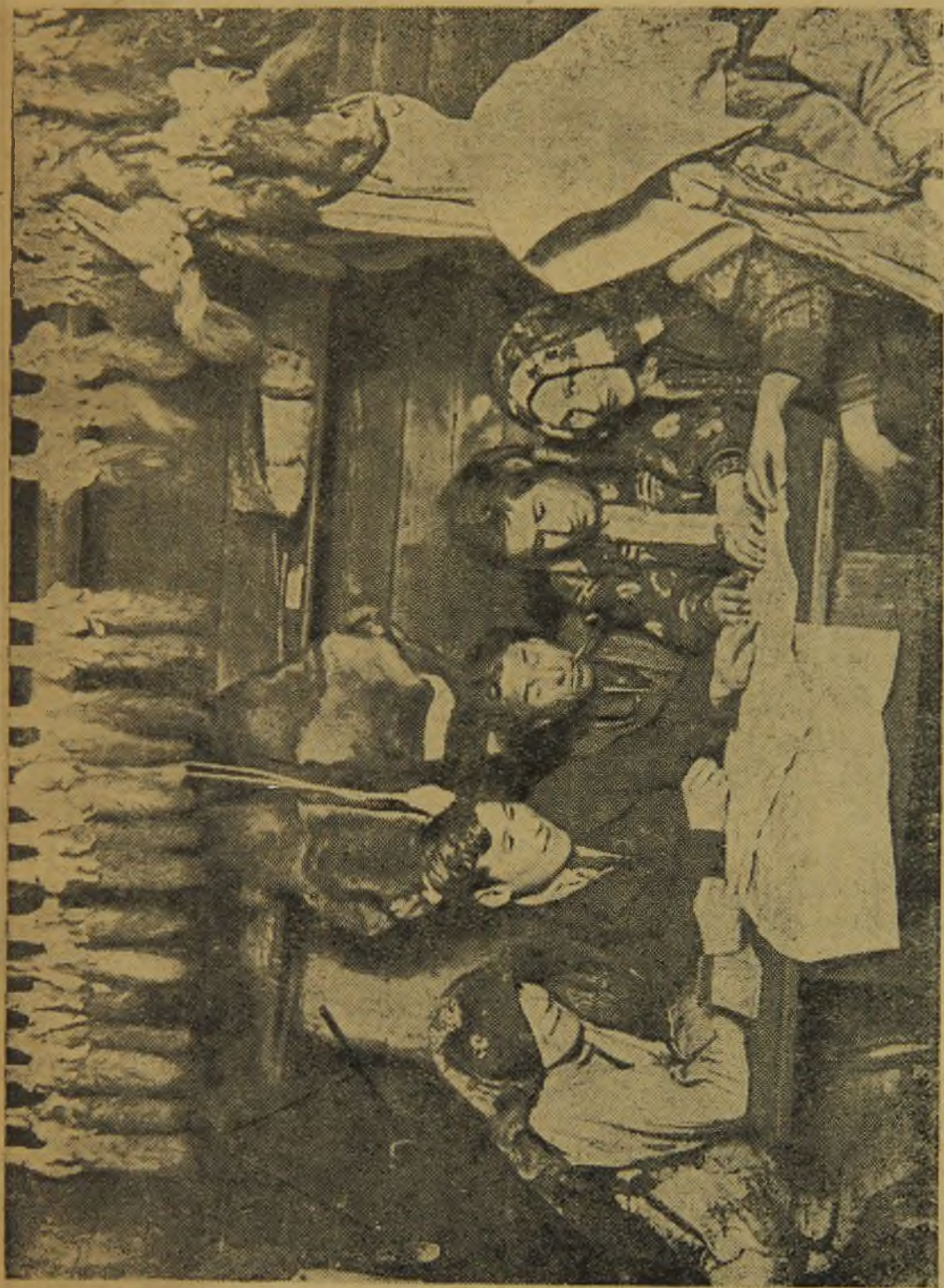
В тайгу не возили книг, в тайгу везли водку. Капитализм привил манси все худшее, что имел.

Горсточка людей — осколок народа манси, — кочевавших на Северном Урале, слышала только отдаленные громы революции. Через тайгу слабо доносились отзвуки борьбы и событий. Ивдельские манси вступали в новую эпоху, находясь на последней грани борьбы за существование. Жуткие памятники оставил по себе капитализм здесь, на Севере.

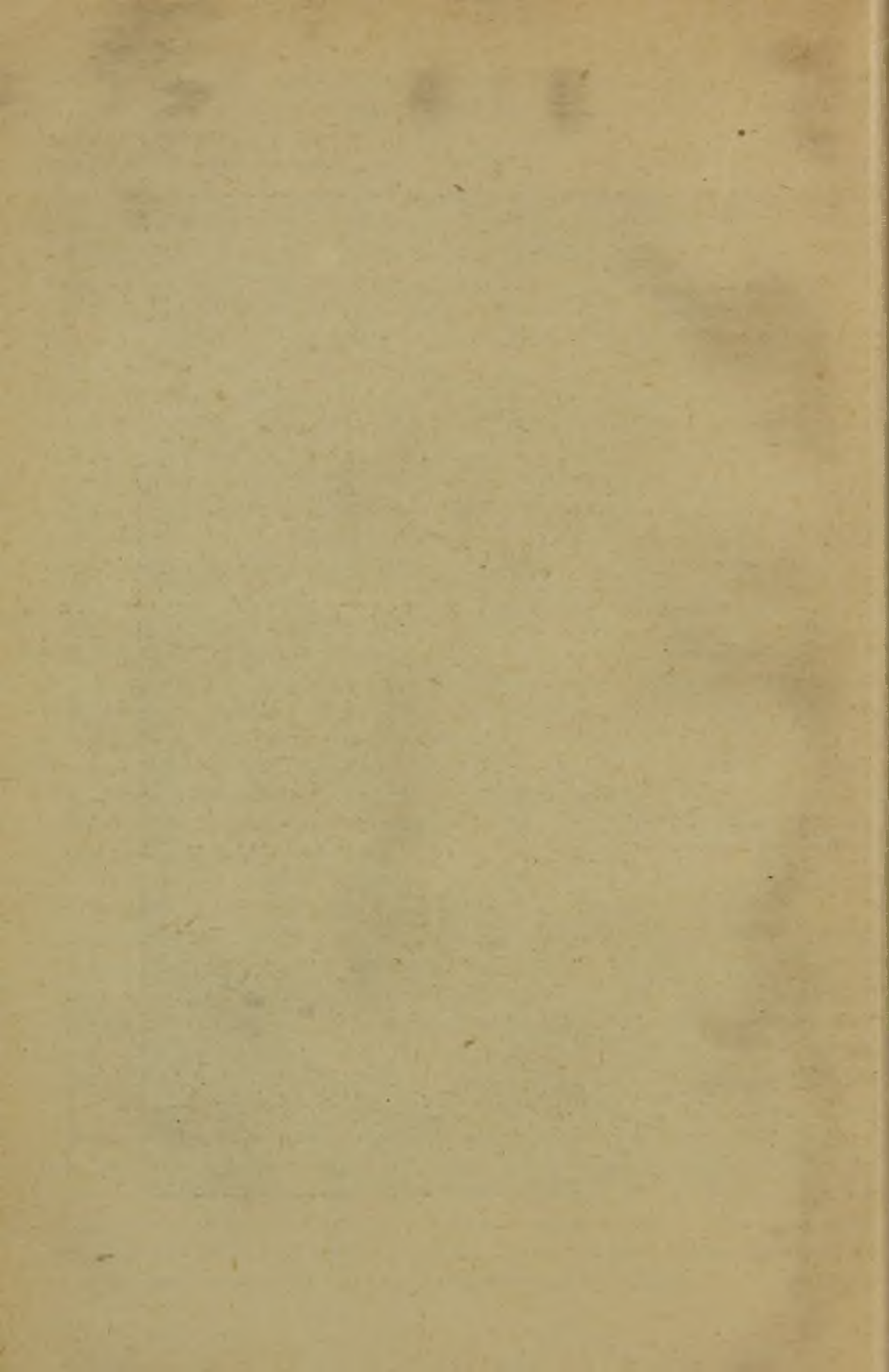
Сквозь века горсточка манси пронесла в эпоху социализма предрассудки начала истекшего тысячелетия. Всю тайгу манси населили богами. Богов у манси было больше, чем верующих в них людей. Нуми-Торм был добрый бог, а Куль — злой. В подчинении Нуми-Торма была армия богов: меньшего ранга боги, народные, родовые, семейные, личные. Реки, леса, горы, — везде жили боги. Бог Полум-Ойка заведывал рыбой, птицей и зверями в районе реки Пелым. Нор-Ойка инокровительствовал оленям. Бог Мире-Суне-Хум мог перевоплотиться — в гуся, Аустья-Одыр — в щуку, Аясь-Торм — в лебедя, Тахыт-Котла-Торм — в лягушку. Домовые, водяные, лешие жили в представлениях манси на каждом шагу. Манси верили в загробную жизнь, а поэтому вместе с человеком в могилу клали оленя, нарты, ружье и всю снасть, чтобы „ис“ — тень могла существовать и кормиться по ту сторону жизненных рубежей.

Шаманы обволакивали мозги манси отравляющим дурманом. Народ манси не знал ни грамоты, ни книг. Люди не ходили в баню, не стирали белья, поэтому паразиты хозяйничали в юртах, доставляя человеку лишние страдания. Темные юрты не имели настоящих печей. От темноты и вечного дыма человеческие глаза изъедала трахома. И самое главное: люди манси не знали старости. Они не знали ее потому, что умирали молодыми. Народ уже не верил в свое будущее. Может быть поэтому так безрадостно манси встречали своих новорожденных. Беременная женщина считалась „поганой“, и в тот момент, когда ей приходило время рожать, ее выкидывали на улицу, не считаясь ни с временем, ни с погодой.

До такой последней степени угнетения и угнетенности довел горстку народа на Северном Урале капитализм. Еще двадцать, тридцать, может быть пятьдесят лет — и никаких



Манси Григорий Куриков (второй слева) показывает своим родным на карте путь лыжного пробега: юрта Суйват (Гаринского района) — Свердловск, проделанного им с товарищами.



манси за селом Никито-Ивдель уже больше не существовало бы.

Но пронесся над страной возрождающий к жизни шквал революции. Манси уже ни во что не верили. Мир для них лежал чужой, далекий и злой, как зверь. Но когда отгремели пушки, и больницы городов очистились от больных сыпняком, из далекого мира в тайгу пришли гонцы с лаской. Они не раскрывали конторских книг, не стращали прошлогодними долгами, наоборот, гонцы объявили, что манси никому больше не должны ни копейки и могут начинать жить заново. Старое зачеркнуто.

Это было понятно. Но манси не верили. Шаман учил иначе. Манси ушли в глубь тайги. Прошедшие века отучили их от всякой ласки. Новые люди из Никито-Ивделя хорошо рассказывали про революцию, но как же с купцами? Потом манси вернулись на свои старые места. Купцы не являлись. Новые люди принимали от манси пушнину, платили за нее полной мерой, давали муку, сукно и ситцы, яркие как сказка.

Шаман говорил, что добрые боги рассердятся и жестоко покарают народ манси, ибо большевики посланы на землю злыми богами. Но шли годы, манси сдавали пушнину и не видно было, чтобы боги на них сердились. Наоборот — лучше стало в юртах, сытнее сделалась жизнь. Манси, когда приезжали в Ивдель, шли уже прямо, смело глядя вперед, а не так, как несколько лет назад, когда ходили сторонкой от людей, пряча глаза и опасаясь каждую минуту злой и незаслуженной насмешки. Уже никто не называл манси „инородцами“.

Никто не смел обидеть манси. Очень полегчало манси в жизни. И все чаще возникала мысль: пожалуй, шаман врет. Наверное боги не говорили ему ничего подобного, а он сам все выдумал и наврал. Надо будет переизбрать шамана, поставить на его место другого, с которым боги будут разговаривать по-деловому, а не по пустякам. Манси видели факты, а факты убеждали.

Русский купец всегда был врагом. Новый русский человек стал другом. Это был первый, осязаемый для манси результат революции. Революция подняла манси не только материально, освободив его от эксплуатации, но и морально. Манси поняли, что они равноправные люди. Пожалуй новым русским начальникам можно верить! Так в тайге появился первый русский врач, лечивший трахому. Шаман мог злоб-

ствовать и грозить от имени богов, но боги не в состоянии были состязаться с фактами: шаман не умел лечить трахому, русский врач ее вылечивал. А манси издавна привыкли обращаться с богами бесцеремонно: в случае деловой удачи идолу можно дать сала, а в случае неудачи бывает полезно и постегать его веревкой, а то и вовсе выкинуть вон, заменив новым. А в самом деле: может быть и действительно надо подновить богов в юртах? Может быть, тогда они перестанут путать, подобно старым.

Вскоре в Никито-Ивделе видели: два манси пришли в больницу. Они хотели лечиться. Затем заболел Павел Федяев, и манси не доверили его лечение шаману, а отвезли больного в Никито-Ивдель. Отсюда его отправили в Свердловск, чтобы там сделать операцию.

Так шли годы. Небо над тайгой висело ясное. Манси научились за эти годы улыбаться.

Коросты прошлого спадали медленно. То, что наслаивалось веками, нельзя отколупнуть ногтем. Но манси не могли не заметить, что их стало больше: в юртах и на кочевьях голосили новые младенцы, и появление их на свет уже не вызвало ни гнева, ни озлобления.

Потом в тайгу приехало много людей: они строили поселки, устраивали шахты. Эти люди хотели взять из земли золото. Они прорубили просеки и дороги, перебросили через реки мосты. Манси увидели автомобили. Люди в поселках устанавливали мачты, и черные тарелки запели и заиграли. В Ивделе повесили полотно, погасили в комнате свет и на полотне стало светло, и люди задвигались, как живые. Как-то манси увидели над тайгой птицу огромных размеров. Манси хорошо знали всех птиц. Эта птица пела незнакомые песни. Над тайгой летал человек. И был день: заводский гудок запел в тайге певуче и протяжно — то гудело на новом прииске имени Серебровского. Издалека, за сотни километров, манси ездили смотреть электрическую лампу: она показалась занятнее солнца и звезд — ее можно было взять в руки и пощупать.

До манси дошло слово:

— Пятилетка! В тайге пятилетка!

Манси многое поняли. Манси убедились, что разумнее поставить в юрте камин, чем выпускать дым через дыру в крыше. Они познали вкус печеного хлеба и уже забыли теперь вкус мучной болтушки. Чтобы печь хлеб, манси поставили русские печи. Манси стали умываться и стирать

белье. И первая коса под взмахом ножниц упала с мужской головы на пол.

Манси захотелось жить. Их дети встали под пинцет оспопрививателя. Дети не понимали, что это есть первый акт родительской ласки и заботы о их будущем.

Тогда шаман Савва Бахтияров сказал на собрании:

— Русские всех вас загонят в колхоз насильно.

И впервые произнесенное на языке манси слово прозвучало в ответ шаману, как удар:

— Кулак!

* * *

Как гора, сложенная из камня, разрушается под влиянием упорно действующих сил воды и ветра, так многовековые предрассудки ивдельских манси один за одним падали под влиянием времени, фактов и того, что говорили русские люди в Никито-Ивделе. Манси ни к чему не принуждали, их не торопили, им только осторожно подсказывали, давали совет. От края до края на советской земле кипела новая жизнь и это не могло не доходить до сознания манси. Приходили вести о жизни соплеменников манси, живущих на берегах Оби, в Остяко-Вогульском национальном округе. Там манси организовали колхозы, ловят коллективно рыбу, там устроены школы и интернаты, дети манси знают грамоту, оборудованы фабрики, и даже есть такие манси, которые учатся в Ленинграде и смогут потом сами делать машины. Не узнать теперь родной реки Пассер-я — Вишеры. В низовьях ее русские люди поставили бумажную фабрику, по реке, разрывая волны, белыми лебедями плавают пароходы. Река несет к фабрике сотни тысяч бревен, из которых делают бумагу.

А охотники! Русские люди построили в тайге для охотников хорошие избушки, и стало лучше охотиться. А разве ивдельские манси не могут устроить свою жизнь так же, как их собратья на Оби, или русские охотники на Пассер-я? Уже далеким казалось время, когда купцы эксплуатировали манси, уже выросли в тайге новые люди, которые прекрасно охотились, выбирали себе невест, но не помнили ни купцов, ни времен, когда манси считались „инородцами“.

И вот: уже ничего удивительного и позорного не увидели манси в том факте, что у них женщины бок-о-бок сидят с мужчинами на собрании, и лица женщин не закрыты, хотя на собрании присутствуют русские мужчины. Женщины берут

слово и выступают с речами. Это было бы невообразимым еще несколько лет назад. Но теперь мансийские женщины получили право доступа к семейному очагу, к огню, что раньше было исключительной привилегией мужчин. Больше того: в юртах можно видеть, как платье мужчины и женщины сушится над очагом на одной палке. Десять лет назад женщина манси не могла и мечтать об этом: ее платье место было на нижней палке. И далеко не всегда женщины теперь покидают юрты, чтобы возвратиться потом с новорожденным. Зато в юртах появилась акушерка.

Эти факты могут показаться незначительными, но для манси они означали исторический поворот в судьбах народа, величайшую ломку и перестройку человеческого сознания и мышления. Манси стали догонять ушедшую вперед колесницу истории.

Большинство молодых манси овладело грамотой, и это позволило им быстрее понять, что можно жить иначе, чем они живут. В десятках и сотнях мелочей сказывался поворот манси на новые жизненные дороги. Новая эпоха вторглась в юрты, переместила там предметы, внесла новые вещи и, главное, люди в юртах стали мыслить иначе, нежели десять — пятнадцать лет назад.

...Был 1935 год. Впервые манси, кроме охоты, занимались зимой еще и другой работой: они возили на оленях грузы на далекий северный зауральский прииск. В тот же год русские люди собрали манси и сказали, что не плохо бы им иметь свой поселок. Этот поселок можно устроить очень удобно: поставить новые избушки, в которых будет чисто, тепло и светло. Поселок можно поставить на речке Тошемке, недалеко от могильников предков, и совсем близко от охотничьих угодий. В поселке будет магазин, школа с интернатом, баня. Манси будут иметь свой город и одним прыжком перепрыгнут через многие века своей отсталости.

Сосредоточенно думали манси. Несколько голосов сказали робко:

— Правильно!

Но большинство ответило:

— Нет! Тогда не будет манси, тогда из манси получится русский человек. Будем кочевать. Но поселок надо строить. Пусть там живут наши дети, пусть они учатся грамоте...

Приближалась осень. В хребтах Ялпинг-ньер, и Оше-ньер, у Молебного, Белого и Чувальского камней полыхали по ночам огромные, но бледные пламенем костры, и олени, свесив моло-

дые только-только окрепшие ветви рогов, дремали стоя, обвеваемые дымом. Овод, спасаясь от которого, хозяева угнали оленей в горы, настагает однако их и здесь.

И вот у чутких лаек поднимаются острые клинья ушей. Нэ¹ поет. Нэ положила руку на голову спящему малышу. Веки приподнялись над ее глазами. Розовые тени от костра блуждают по ее лицу. Медленные тягучие звуки вливаются в таежную тишину, всползают по горным склонам и плывут в воздухе. Кажется, весь мир наполнила нэ своим пением. Нэ поет: в горных ущельях бродят богатыри и манси счастливы.

Песня окончена и лайки положили морды на отпотевшую росой траву, и вершины гор умываются в проходящих облаках, и олени лениво отправились пощипывать корм, и звучнее зажурчал ручей. Нэ подняла голову. Костер тихо умирал. Нэ погладила рукой волосы малыша, сказала:

— Родной! Будешь жить в городе. У манси будет свой город. Завернутые в бересту, там лежат кости предков — так говорит предание. В этом городе тебя научат смотреть на белые листы и рассказывать о жизни. У тебя когда-нибудь будет иеква². Она будет разводить огонь в камине, у вас будет один общий счастливый огонь.

Малыш повернулся, голубеющее небо висело над ним огромной чашей. В горах наступал день. Горы курились испариной. Манси Владимир Бахтияров сидел в Тошемке в доме туземного совета, на председательском месте. Стружки затейливо вились из-под рубанков. В новом поселке достраивали последние домики. Поселок выглядел нарядным.

Первый житель Тошемки Кирилл Бахтияров поднимается с постели, умывается холодной, чистой водой, надевает на себя чистую рубаху. Хорошо! Кирилл не помнит ни царя, ни купцов. В 1917 году Кириллу было пять лет.

Второй житель Тошемки — Яков Бахтияров уходит спать. Всю ночь он ходил по новому поселку, оберегая его от пожара и зверя.

...Осень. Березы тихо раскачиваются над руслами речек. По одному, как слезы, роняют они золотые листья. Пора скоро уходить с оленьих пастбищ в горы.

В темные ночи ярче пылают костры. У костров говорят о Тошемке. Уже в шести домиках там поселились манси.

¹ Нэ — женщина.
Иеква — жена.

Первые птицы улетели с севера на юг. Матери ласкают детей перед разлукой и говорят:

— Раста, родной! Учись, родной! Часто-часто мы будем приезжать к тебе. Мы будем около... близко, а может быть... ведь много хороших домиков построено в Тошемке...

Горы делаются фиолетовыми, и Денежкин Камень стоит окруженный тучами, точно ведет с ними войну. Вчера в горах видели одинокую снежинку. Она долго кружилась в воздухе, прежде чем растаяла.

Новый поселок называли Тошем-Пауль.

Манси съезжались торжественно. Празднично и нарядно было в Тошем-Пауле. Сегодня будет праздник — Мар-Патлон-Топ-Хотал. Охотничий, стрелковый праздник! Но прежде всего после летнего кочевья — в баню, вымыться, приодеться.

Стрелки вышли на линию огня. Пять лучших из них получили премии и значки ворошиловского стрелка. Это были тт. П. В. Бахтияров, А. В. Бахтияров, В. Н. Бахтияров, А. П. Самбинталов. Пятой была восемнадцатилетняя Соня Бахтиярова.

Метали гранату. Первое место занял В. В. Бахтияров.

Состязались в беге по пересеченной местности. Первым пришел к финалу П. В. Бахтияров.

Затем дети играли в мяч, в волейбол, состязались в борьбе „дзю-до“. Старейший 82-летний манси Я. Н. Бахтияров играл с детьми.

До поздней ночи пели и веселились манси в Тошем-Пауле. Потом манси постановили: сделать „Мар-Патлон-Топ-Хотал“ ежегодным национальным осенним праздником и, кроме того, установить зимний лыжный праздник „Мар-Езан-Топ-Хотал“.

...На землю пал снег. И произошло историческое: маленький манси вышел к школьной доске и написал мелом название своего народа.

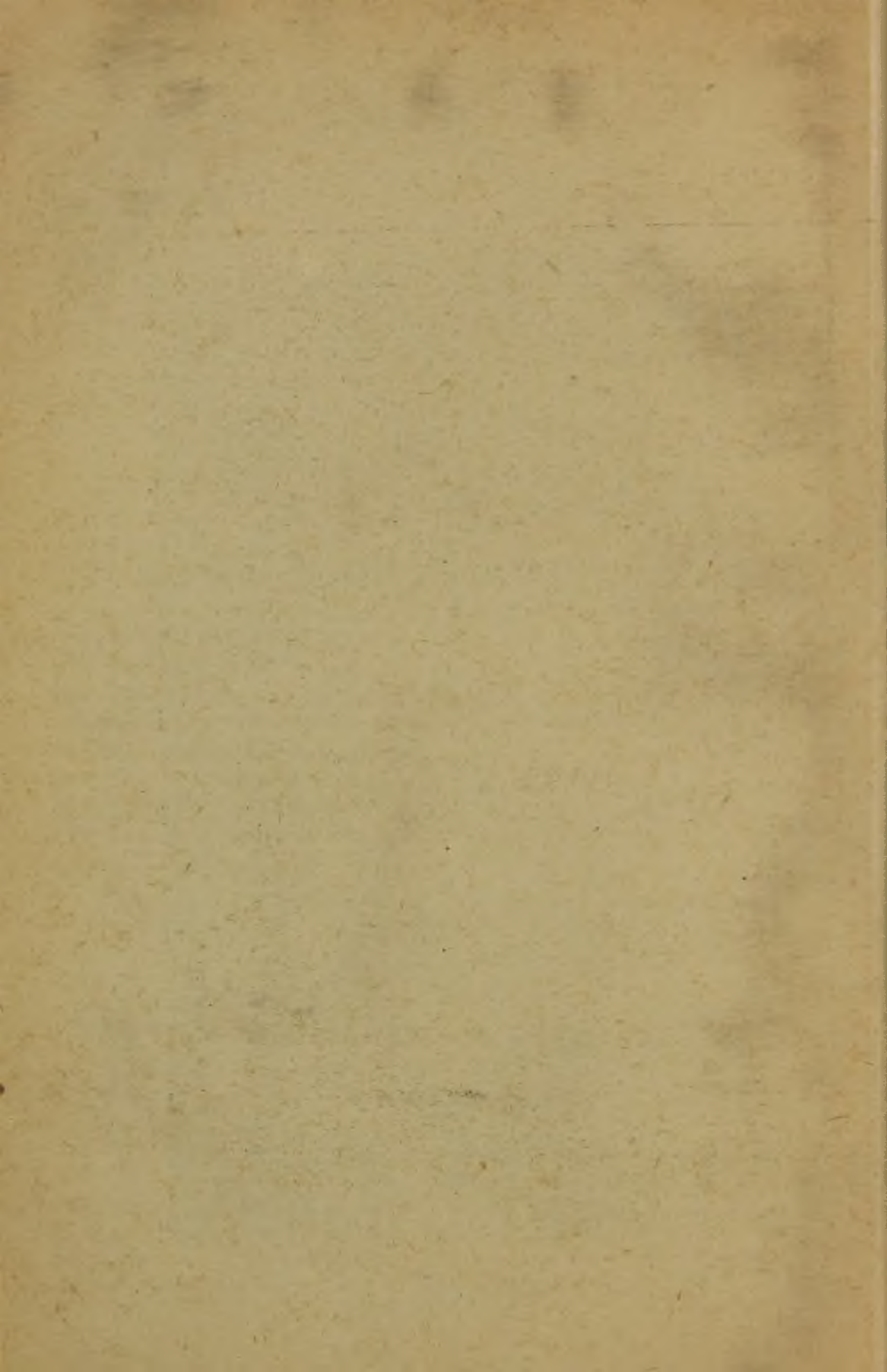
...Прошел еще год и в газетах было опубликовано письмо учительницы в школе Тошем-Пауля товарища Шурыгиной.

„Дети, — пишет тов. Шурыгина, — пришли нынче с большим желанием учиться. Услыхав, что я приехала, они сами попросились из юрт на учебу. Смело вошли в школу, вежливо поздоровались и попросили полотенце и мыло. От прежней дикости не осталось следа. Выглядели дети довольно нарядно. На них были надеты красивые суконные малицы, вышитые бисером, и новенькие рубашки.“

Весело рассказывали ребята, как они провели лето. М. Тосманова — наша отличница — добыла за лето 22 крота.



Манси Александр Бахтияров — опытный и меткий охотник (Ивдельский район).



Два мальчика, побывавшие в лагерях, научились довольно хорошо говорить по-русски, разучили пионерские песни, занялись физкультурой. Теперь каждый вечер они обтираются полотенцем, учат этому других детей.

Мне сейчас не приходится тратить много энергии на привитие культурных навыков. Новички изучили школьные правила, привыкают к чистоте. Когда Георгию Бахтиярову принесли грязную малицу, он попросил у отца дать другую. Отцу стало неловко и он выполнил его просьбу.

Изменились игры. Недавно вечером я зашла в столовую и увидела такую картину: за столом у стены сидели трое детей. Это был „президиум“. Остальные сидели на скамейке. Они изображали собрание взрослых жителей мансийского поселка. В составе президиума была девочка Лида Бахтиярова — дочь ударника-охотника. Она играла роль учительницы Шурыгиной, т. е. меня. На „собрании“ стоял вопрос „об охвате всех детей манси школой“.

Каждый раз, когда я еду в Ивдель, дети ждут меня с большим нетерпением. 14 октября я привезла им подарки — яблоки и арбуз. Они видели их впервые. Арбуз дети приняли за мяч. Долго расспрашивали: почему арбузы не растут на севере и заявили, что попробуют их вырастить сами. — „Мы хотим, — сказала Маруся Тосманова, — работать как Мичурин...“

...Совсем недавно в Тошем-Пауле побывали путешественники из Свердловска. Они принесли радостные вести: манси обжили поселок. Тошем-Пауль выглядит в тайге городом...

Вчерашний день — купцы, ясак, пережитые унижения — выглядит далекой и страшной сказкой. Широко открытыми глазами смотрят манси в свое будущее. Там полыхают яркие зори возрождения.

А. Маленький.

ПРАЗДНИК „ХОЗЯИНА ЛЕСА“

(Из прошлого манси)

Когда мы подходили к селению, раздались вдруг оглушительные звуки барабанного боя.

Их быстро подхватила тайга. Гром стал расти, шириться, сливаясь с неистовым лаем собак.

Шаманят!

...Поодаль от юрт, в чаще, на настиле из березовых жердей лежала голова медведя. Вокруг толпились гости, собравшиеся „играть медведя“. Перед головой медведя сидел на корточках, дико блуждая глазами, молодой манси и неистово колотил по пузатому барабану.

Главный виновник торжества — Петр Амедьев — нетерпеливо теребил руками переброшенные через плечи длинные косы. Его сжигало нетерпение. Все готово, нужно начинать, а шаман все еще барабанит.

Грохот все усиливался. Толпа замерла.

Вдруг в барабане словно лопнула какая-то пружина, грохот оборвался, и шаман с хрипом повалился на утоптаный снег.

Через несколько минут он встал, и, шатаясь, хриплым голосом произнес:

— Бог леса велел голову „лесного хозяина“ нести в юрту, окружить ее почестями, каких требует великий хозяин леса — медведь.

Шаман остановился у левого кола, к которому была привязана березка, пошептал, перешел к среднему колу, где привязана елка, и затем к последнему, где привязан молодой кедр, снова пошептал и уже громко сказал, обращаясь к народу:

— Русские боги также велют праздновать медведя. Они обещали не сердиться на охотника и еще обещали ему счастливую охоту.

Петр Амедьев подхватил голову и, прижимая ее к груди, понес к себе в юрту. За ним последовали гости.

В юрте Петра Амедьева было убрано по-праздничному. Все шкуры из родового сундука вынуты и развешаны по стенам. Посредине юрты поставлен низенький стол, накрытый цветным платком, а на нем — голова „хозяина леса“. Два серебряных полтинника прикрывают глаза зверя. Между ушей навешено много бус и разных украшений, временно снятых с женщин. Вокруг головы на столе все представители тайги: лось, россомаха, олень, козел и даже заяц, сделанные из пресного теста.

В ярко пылающем чужале кипит огромный котел медвежьего мяса.

Женщины гремят побрякушками на одежде, валяют около юрты в снегу тушу виновника торжества, а мужчины упражняются в стрельбе из лука. Бунчит туго натянутая тетива, стрела со свистом режет воздух и впивается в кедр, на котором висит маленький кружок из бересты.

— Все готово! — объявляет хозяйка, и гости с шумом врываются в юрту.

Шаман сделал неопределенный знак рукой, торжественно обошел вокруг стола и, став перед мордой зверя, клятвенно произнес, прижав руку к сердцу:

— Не сердись, хозяин леса, не наш охотник убил тебя. Тебя убил огонь, придуманный русскими. У-у-у, шайтан русский! Зачем обидел нашего хозяина? Мы тебя любим, хозяин леса! Ой, как любим, нам тебя жалко! — и, наклонившись, шаман поцеловал в губы мертвую голову.

За ним проделали эту же церемонию все присутствующие.

В большое корыто вывалили варево и поставили около стола. Шаман с чашкой вина подошел к голове и ткнул в губы зверя.

Потом залпом выпил всю чашку вина и, порывшись в вареве и выбрав лучший кусок, стал закусывать. Чарка пошла вкруговую.

Откуда-то появилась музыка: многострунные гусли на палке дугой, полено со струнами наподобие скрипки и сучок вместо смычка, нечто вроде гитары с шестью струнами из оленьих жил.

Музыка была вначале нестройная, но потом полились нежные мелодии. Расступилась толпа, и в круг выскочил Петр Амедьев с красным платком в руках.

Священный танец „хозяина леса“!

Танцор прыгал, словно его поджаривали на горячих углях, и легко взмахивал руками в такт музыки.

С востока ворвались в глухомань яркие лучи солнца.

Встрепенулась тайга, запела.

Музыкантам поднесли по чарке вина. Новый котел варева опрокинули в корыто, но теперь уже корыто было поставлено не у стола, а на открытом воздухе, у юрты.

* * *

На середину вышли два танцора. Один остановился как вкопанный, — он изображал обломок березы, второй — охотника, потерявшего надежду найти живого человека.

Сначала музыка льется грустно, плачет, как потерявший надежду охотник. Потом — рванулись звонкие трели с бешеными переборами. Звенит музыка, пляшет охотник вокруг березы. Вдруг в стройные звуки врывается слабый крик. Он становится сильнее и сильнее.

— Я приставлю сучок к обломку березы, и будет рука, — заявляет охотник и, хватая сучок, вытягивает его кверху — и поднялась рука у обломка березы...

Смелее, призывнее гудят струны, увереннее взмахи рук плясуна, и ноги не сбиваются с такта.

Дернул охотник другой сучок, и образовалась вторая рука у обломка березы.

„Береза с руками, но без головы, все еще не человек“. Мечется плясун, высоко подпрыгивает, слегка касается вершины, и у обломка березы появляется голова с родным, широким лицом и братской улыбкой...

„Ноги дай!“ — кричат струны, врываясь в стройную мелодию танца.

Разбежался охотник, ткнул ногой в бок березы, наклонился и отставил ногу. Пляшет охотник, любитесь, радостно блещут глаза, скоро у него будет товарищ, с которым разделит он тоску. Струны призывно гудят: „торопись... торопись... торопись!..“

Разбежался охотник, толкнул в другой бок березы, наклонился и отставил другую ногу.

Сейчас уже не тоскует музыка, в ней — гул победы, крик восторга. Врываются в рокот струн звуки приказа: „Раскачай... раскачай... И береза пойдет вместе с тобой танцевать“. Пляшет танцор и раскачивает обломок березы с головой, руками и ногами.

И вдруг береза пошла в пляс вместе с охотником. Пляшет охотник с вновь обретенным товарищем под звонкие призывные трели...

Солнце стало припекать, дохнуло жаром, ожил день звонкой капелью, и только тогда утомленные гости разошлись по домам.

Замерла жизнь в пауле, даже собаки — и те всхрапывали, растянувшись на припеке.

К вечеру вогулы снова столпились у юрты Петра и прислушивались к заманчивому бульканью котла, в котором варилась на этот раз оленина.

Шаман и Петр Амедьев, вымазанные сажей, кривлялись перед головой медведя и клятвенно заверяли ее, что убил медведя русский огонь.

На следующую ночь у юрты появились люди в берестяных масках, и началось представление, содержание которого таково:

Живет манси, имеет двух сыновей, здоровых и крепких, как кедры. Вдруг заболел старший сын. Пошел отец к шаману, а шаман просит за лечение семь оленей. Вышел манси на болото и кричит: „ой-ой-ой-ой-чо-чо-чох-па-а!“ Сбегаются к

нему олени. Взивается длинный аркан, падает в стадо и ловит белых оленей за рога. Привел отец к шаману семь белых оленей, и говорит ему шаман: „Иди, твой сын здоров“. Идет манси домой, весело на душе, запел песню веселую, как день весны. А дома плачут: умер сын... Прошло несколько дней — заболел второй сын. Шаман просит за лечение семь пестрых оленей. Пришел манси домой, а дома второй сын помер. Схоронили второго сына, плачет манси. А потом и сам заболел. Осердился манси на шамана, пополз к нему. Стонет, охает, ползет по пням болот, по тайге. Три дня и три ночи полз манси. Добрался до юрты шамана, а его нет дома. Схватил тогда манси бога-шайтана и давай бить. Бьет идола и слышит, как сила прибывает. Совсем уничтожил шайтана, — и здоров стал... Стал здоров — стоит и думает: „Эх, жалко, еслиб раньше знал, как здоровым быть, не пропали б мои сыновья и были бы целы мои олени...“

С. Морозов-Уральский.

СБОР ЯСАКА

(Из прошлого манси)

Маленькое село с десятком домиков и низенькой деревянной церковью, окруженной кедрами, беспорядочно разбросалось на плоском берегу реки.

По единственной улице села бродили, что-то разыскивая, понурые олени.

Это был центр вогульского края, один конец которого упирался в Урал, другой в реку Обь, а два другие затерялись где-то в лесах и болотах без границ.

В этом центре сидел писарь, сидел вечно пьяный старшина-вогул, лежал хлеб на случай голода, порох, свинец на случай нужды промышленника, и жил „батюшка“, на случай требы, и еще фельдшер, которого редко когда видали вогулы в своих юртах.

Впрочем я встретил однажды в вогульских юртах фельдшера. Вся его практика, оказалось, заключалась в том, что он зимой вздумал... прививать оспу!

В одной юрте раздавались раздирающие голоса ребят, покрываемые воем женщин. Я иду туда и останавливаюсь в недоумении. Передо мной стол, на нем вся в крови белая

скатерть, лежат какие-то страшные ножи, какими орудуют повара на кухне, и сам виновник всего старательно натачивает нож на точиле, словно собираясь резать ребят на ужин...

Я очень помешал операции. Оказалось, что догадливый эскулап нарочно устроил эту декорацию, чтобы сбить с толку сердобольных матерей и выманить у них побольше шкурок на оленью доху, о которой он давно уже мечтал... И они в ужасе от ножей, от мысли, что будут резать их ребят, несли ему все, что имели...

Мое появление создало замешательство. Шкуры унесли прочь, женщины с радостью разбежались по юртам, ножи и скатерть были быстро спрятаны в чемодан... чтобы последовать в следующие юрты.

Это путешествовал медицинский обоз.

...Это была администрация, а жизнь, самая жизнь с ее безысходной нуждой для этого забытого края заключалась в тех трех-двух домах с крашеными крышами, в которые больше всего тащился в нужде бедняк-вогул, неся туда свой промысел: белку, рыбу, соболя, рябца; где совершался, невидимо ни для кого, обмен, записывались долги, нанимались вогулы в работу и выходили невеселые, с понурой головой, с каким-нибудь мешком муки, фунтом пороху и чаю, направляясь в свою непроходимую тайгу, в родной пауль... И эти дома больше значили, чем волость, магазин, фельдшер, потому что без них нельзя было дохнуть, нельзя было вырваться на свободу, продать что-либо на сторону, наняться к какому-нибудь другому в работу и даже, порой, быть свободным у себя в своем промысле...

И все это делал медный грош, каким-то чудом превращавшийся в рубли, затем в сотни и тысячи, но уже в чужих руках.

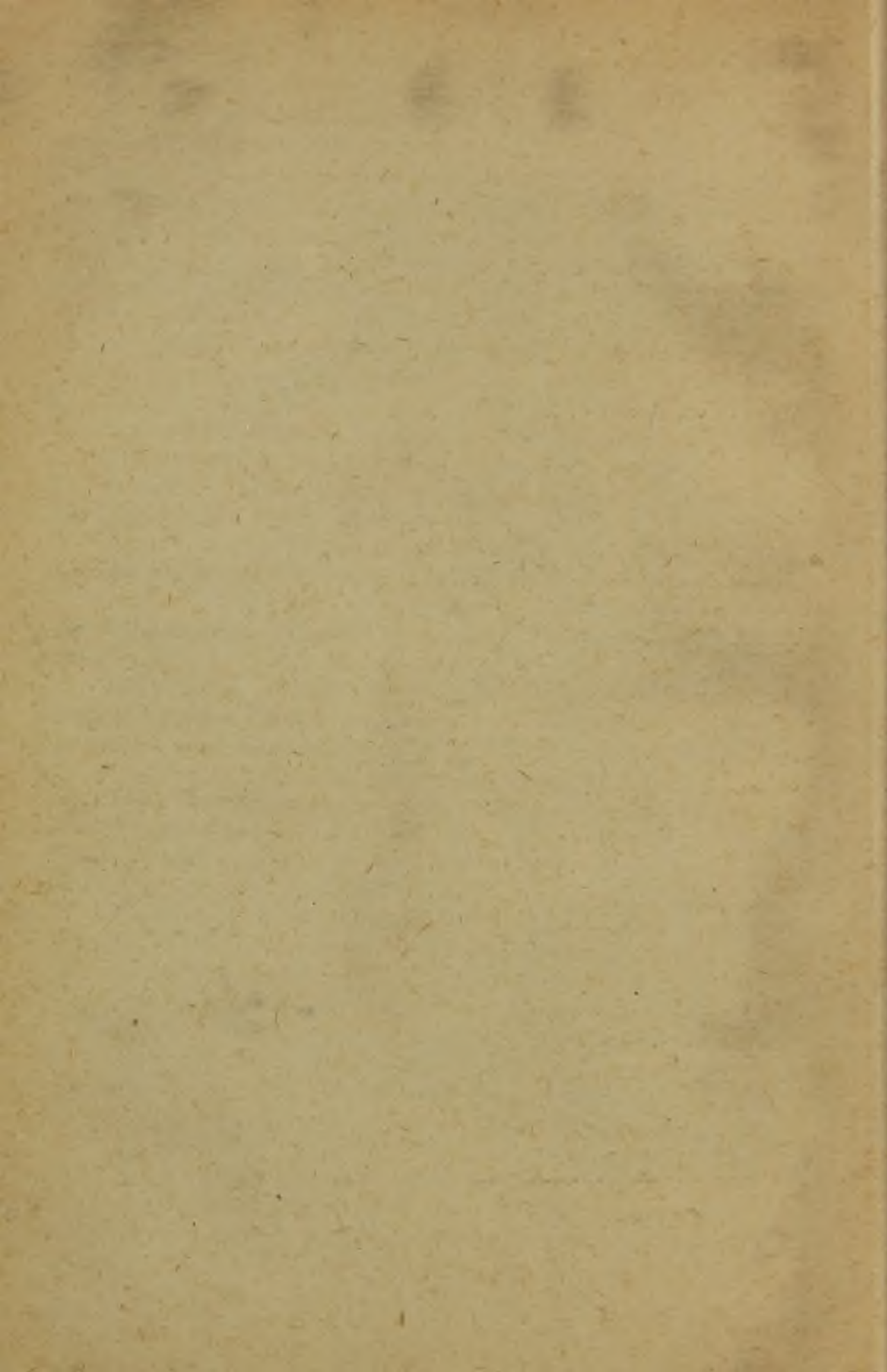
В этом-то селении я и наблюдал сцену сбора ясака.

Просторная, низкая юрта была освещена одним маленьким квадратным окном. В углу пылал, обдавая жаром, громадный чувал. Изба наполнилась народом. В передний угол собрались в черных тулупах купцы, пришел писарь с громадной вязкой бумаг, за ним появился уже изрядно выпивший старшина с князьком-вогулом в необыкновенном халате с позументами, принесли на стол ящик с печатями для казны.

За стол сели писарь с озабоченным видом, старшина-вогул с опухшей физиономией и еще какие-то два человека. Вдоль стены на скамье разместились в чинном порядке купцы, а в углу, около чувала, столпились подъясачные вогулы.



Манси Григорий Куриков заарканивает молодого оленя
(Гаринский район).



Писарь встал и торжественным голосом начал читать и перечислять, что требуется в „Кабинет его величества“, что нужно по раскладке волости на содержание его, фельдшера, „отопление и освещение волости“, провиантского магазина, на рассылку, гоньбу и тому подобное, включая туда же и повивальную бабку, о существовании которой я и не подозревал, да едва ли когда их видало и само податное сословие.

— Итого, с каждого по семи рублей сорока с третью копеек, — заключил писарь.

— Слышите, — поднимается старшина с места, — по семи целковых с полтиной для круглого счета, — обращается он к вогулам, которые переминаются с ноги на ногу от такого урока арифметики.

После этого объявляется, что сейчас начнется сбор ясака, и чтобы все приготовили деньги и то, что „припасли государю“, что „желающие доброхоты могут платить шкурками, а кто их не имеет, тот может платить деньгами“, и приступают к сбору.

— Иван Салбантанов! — кричит писарь по книге. В толпе происходит движение.

— Иван Салбантанов! — повторяет писарь еще громче. Там что-то толкутся.

— Ванька, Ванька, — толкают кого-то в бок. Вперед выходит молодой вогул с меховой собачьей оборкой вдоль подола малицы и начинает отвешивать поклоны каждому на особицу.

— Плати ясак, — говорит строго писарь.

Вогул разворачивает пазуху малицы, вытаскивает оттуда зеленый полштоф водки и с поклоном ставит его перед старшиной. Я с удивлением смотрю, что будет дальше. Полштоф подхватывает старшина; другой вогул, рядом, сует ему стаканчик, и писарь, улыбаясь, объясняет мне вполголоса в то время, как пьет старшина за столом, что это „такой уже обычай“, но, видя, что я удивлен „такому обычаю“, шепчется что-то со старшиной, начинаются на непонятном мне языке переговоры, и писарь объявляет, что если кто „по обычаю“ сегодня хочет попотчевать свое начальство, то те могут это сделать после, и требует от Ивана Салбанталова голосом, не допускающим возражений и разговоров, чтобы он платил, наконец, ясак.

Тот опять лезет в пазуху, вытаскивает оттуда мягкую куницу и, встряхнув ее, кладет на стол перед писарем.

В то время как писарь записывает карандашом в книгу, что от Ивана Салбанталова получена в „Кабинет его вели-

чества“ куница, шкурка начинает гулять по рукам, переходит из рук старшины к князю, от того к помощнику старшины, от последнего к купцам; каждый вытягивает ее за хвост, дергает ее через коленку, нагоняет ей ворс, дует на нее, щупает самым жестоким образом бедного благородного зверька и, наконец, объявляют ей цену в два с полтиной.

Куница, пройдя через руки экспертов, наконец, попадает снова на стол, и ее кладут в ящик с красными печатями.

Если вогул платит деньгами, то и они тоже тщательно осматриваются, словно вогулы сами делают деньги.

Один за другим подходят вогулы к столу, лезут за пазуху малицы, выкладывают оттуда, словно из сундука, кучи белок, мятых куниц, изредка соболя, шкурки красногрудых лисиц, заворачивают полы, обнаруживая перед зрителями голенища пимов, меховые шаровары, вытаскивают из карманов кошельки, роясь в них, считают ассигнации, задумываются и, не зная счета, передают их старшине. Тот пересчитывает, сдает сдачу, писарь записывает их в книгу, а старшина, разглаживая ассигнации, складывает в общую кучу, в ящик с печатями...

— Кузьма Пакин! — выкрикивает писарь.

К столу подходит растрепанный вогул в оборванной малице:

— Плати ясак, — говорит ему писарь.

Кузьма опускает голову и стоит, не двигаясь.

— Плати ясак! — кричит ему старшина.

— Кузьма кланяется, переминается с ноги на ногу, и молчит.

— Плати ясак! — говорит ему писарь по-вогульски.

Кузьма продолжает кланяться.

— Молах давай ат целковой! — кричит ему, перебивая писаря, старшина, войдя в роль заседателя.

Бедный малый говорит что-то невнятное и разводит руками.

— Молах мини ат целковой! — еще пуще кричит ему старшина, наливаясь кровью, но бедный вогул беззвучно шевелит губами и опять разводит руками.

— Молах давай ат целковой! — кричит старшина и стучит кулаком. В избе пробегает ропот. Вогулы отступили от стола и жмутся, испуганные, к двери...

— Молах!.. — кричит, наливаясь кровью, пьяный старшина, „выбивая“ ясак. Бедный малый пятится к двери... В юрте поднимается шум.

Как на преступника, накинлось на него все начальство и купцы, старшина уже распорядился принести розог, в избе

показались березовые вицы, но парня утащили в сторону, прошло минуты три, и за него внес ясак один торговец, облюбовавший его себе в работники за эти восемь целковых на все лето...

После него явился старик Никита. Ему долго кричали в уши, что надо платить восемь рублей. Он долго копался в пимах, вытаскивая оттуда и отсчитывая потерянные деньги, одну бумажку нашли негодной, старой. Но тут я попросил узнать, сколько ему лет. Долго, нехотя, рылись в бумагах, и оказалось, что ему давно за семьдесят.

Нехотя возвратили ему деньги, говоря, что ему уже десять лет как платить не нужно, что он стар, освобожден законом. Старик долго не понимал, дивился, дивились, никогда не слышав такой вещи, и вогулы, и стали считать, что вот этот, вот и этот платят неверно.

Старик не уходил и, подстрекаемый родичами, просил за десять лет деньги обратно...

Но было интереснее всего, когда вызвали Семена Салбанталова.

Вогул, лет за сорок, с лохматой головой, с испуганным лицом, в драной малице, вытолкнутый на середину избы, казалось, недоумевал, для чего его позвали.

Писарь порылся в книгах и приказал ему платить ясак за две души. Старшина по-вогульски строго перевел ему это приказание, прибавив что-то на счет его рваного костюма.

Вогул торопливо полез в штаны, достал кисет с кисточками, откуда выставлялась трубка, и стал рыться, отыскивая деньги. Вынув пачку, завернутую в бересто, он подал последнюю писарю и стал ждать, пока те, при общем любопытстве, развертывали бересто. Из береста на стол посыпалось старое серебро...

— Ты это где взял столько серебра? — закричал на него старшина.

У дверей зашевелился народ.

— У шайтана, — поникши головой, прошептал вогул.

— У какого шайтана? — весь багровея, проговорил старшина...

Все насторожились.

— У Чехрынь-ойки, — прошептал чуть слышно бедняга.

В толпе послышался ропот, все вдруг заговорили...

Оказалось, что вогул действительно, не имея денег, не имея возможности и занять, уже будучи должным своему купцу, у которого он был в отработке каждое лето на рыбном про-

мысле, сходил просто к шайтану Чехрынь-ойке, который находился недалеко от его юрты под наблюдением особого шамана, развязал у того несколько платков, в узлах которых оставляют серебро его поклонники, и взял его на уплату ясака. Серебро, лежавшее в лесу, почернело и тотчас же было вогулами узнано, и так как вогул был бедняк, то они подумали, что он просто украл его, а не взял взаймы, как это делают другие, прибегая к этому средству, как к последнему, в случае крайней нужды, и потому подняли крик, что этим оскорблен шайтан, который помогает им промыслять зверя, помогает в исцелении болезней.

Тут попало и шаману за то, что он плохо смотрит за шайтаном. Тот клялся, что он еще недавно был у того, что стрелы, наставленные на тропе, стоят как следует, и пообещал бедному вогулу, что доберется когда-нибудь до него в лесу и тогда даст ему знать, как ходить без спроса к его шайтану...

За ним вызвали другого, молодого парня из местных юрт.

Он выложил, вместо восьми, три целковых и заявил, что у него больше нет.

Старшина закричал на него, чтобы он достал деньги.

Парень был из смелых и сказал, что достать ему не у кого, в работники он больше наниматься не будет, в долгу брать не станет, в батраки идти к купцам не желает, а за плату платит после, когда промыслит в лесу зверя.

Это было новостью. Вогулы с вниманием следили, что будет дальше. Парень посматривал на меня, ожидая, что в случае чего я буду защищать его. На него долго кричал старшина, ворчали купцы, один уже был готов за него платить, если он согласится на лето идти в работники, но вогул заявил, что у него семья, бросать он ее не будет и хочет быть свободным.

Старшина, наконец, приказал принести розог. Через минуту с холода принесли и положили на пол березовые вицы. Вогул побледнел, но не струсил и заявил решительным голосом:

— Ну что, порите, а платить мне нечем, в работу я все равно не пойду!

Парня схватили под руки и потащили из юрты...

Так продолжался сбор ясака до позднего вечера. После сбора ясака наступил сбор долгов в провиантский магазин.

После недоимок по магазину, пошли взыскания с задолжавших купцам. Дело сводилось к тому, что непослушных заста

вляли подписывать контракт на год в работу на рыбалку к купцу, со сроком явки к нему, с условием неустойки, с выговором, сколько ему уплатится за лето, что ему выдастся за счет платы: азам, бродни, рукавицы, кожанки и пр. Тех же, которые не соглашались идти на низкую плату, а просили дороже, заставляли подписывать силой.

Писарь стоял горой за купца, старшина грозил розгами, купец взысканием...

Бедный вогул, оглохший от шума, растерявшийся, подходил к столу, брал дрожащей рукой перо у писаря, нагибался над условием и, делая кляксу, выводил на бумаге свою тамгу в виде рогов оленя, какой-то закорючки и, вздыхая, отходил прочь, уступая место другому, которого представлял перед глаза старшины и писаря купец, как раба и вечного работника...

К. Носилов.

СПЕКТАКЛЬ В ЮРТЕ

(Из зарисовок быта манси)

...Мы угостили наших гостей чаем. После этого они сделались разговорчивее. В юрте стало весело и оживленно. Послышались крикливые голоса, старик-музыкант запел песню. А потом кто-то из манси предложил устроить в нашей юрте представление.

Это вызвало всеобщий восторг.

Тотчас же ребятишки со всех ног бросились по юртам собирать атрибуты представления, и через минуту-две в юрту уже натащили и вывороченные шубы, и охотничий костюм, и ружья, и лыжи, и старый мансийский лук с натянутой тетивой.

Ребятишки наперерыв предлагали свои услуги — разыгрывать роли оленей. Наш проводник, оказавшийся актером, взял себе роль стрелка и охотника, старик-музыкант согласился „заменять оркестр“, и через какие-нибудь полчаса роли были распределены и было объявлено, что будут играть охоту на оленей.

„Сцену“ очистили от сидящих. Публика разместилась вдоль стен и на наших кроватях, ребятишки забрались на плечи взрослых — и представление началось.

Пара ребят-подростков, одетых в вывороченные олени шубы, один постарше, другой помладше, изображали оленей — самку с детенышем. Молодой манси, одетый в полосатый охотничий костюм, и охотничьих пимах с лыжами, в старой шапке, которая придавала ему оригинальный вид, в позе страстного охотника был так хорош, что его выход на „сцену“ из-за занавески был встречен шумом одобрений.

Но он их не замечает, он уже в лесу, один среди дикой природы, с озабоченным, но восторженным лицом, весь как-то съежившись, притихнув, весь уже отдавшийся тому настроению, которое нагоняет на вас лес, когда вы в нем одни, когда он уже захватил ваше существо своей мертвой тишиной и таинственностью.

Актер не говорит, а изображает сцену лишь при помощи жестов и мимики, но вы все понимаете, все видите по выражению его живого смуглого лица, по его глазам, по всем его движениям, по тому, как он склонился и пробирается по лесу, отстраняя порой сучья деревьев, вглядываясь между их стволами, прислушиваясь к шуму вершин, поправляя постоянно свой лук, который у него за спиной, и колчан, привязанный у пояса.

Публика не сводит с него глаз и молчит, затихла. Она не пропускает ни единого его характерного движения и жеста, и только порой выражает вслух свои мысли, угадывая то, что творится в его душе, что он ищет, куда он идет, зачем он смотрит вверх, где шумят одни вершины сосен...

Картина была чудесна. Она сразу завладела нашим вниманием, и мы уже больше ничем не отвлекались. Старик наигрывал какую-то грустную мелодию из своего репертуара. У него в руках был его музыкальный инструмент — „лебедь“. Металлические звуки этого несложного инструмента были похожи на звуки старинных гуслей и хорошо передавали в мелодии не то гул вершин, не то тот тихий, ропщущий в лесу ветер, которым мы так любим заслушиваться.

Актер обходит несколько раз нашу „сцену“. Ему тесно на ней, неудобно, но это для него ничего, он дал уже толчок своему воображению, и зрители не сводят с него глаз, их фантазия дорисовывает лес, его обстановку, то, что нам не могут дать наши декорации...

Но вот он наклоняется, всматривается в снег и видит след зверя. Вся его фигура оживает и дышит одной охотничьей страстью. Он нашел след оленя. Он в восторге. Он ощупывает его. Он старается узнать, когда тут пробежал зверь, и

задумывается. На его лице мы видим расчеты. Он определяет след по самым ничтожнейшим признакам: по обломленной ветке, по сбитой коре ствола, по твердости примятого снега, и решив, что зверь недалеко, живо скидывает с себя лук, поправляет одежду и быстро-быстро пускается в путь, катясь на лыжах уже без всякой осторожности, без всякого страха. Теперь он весь — одно движение и страсть, теперь он забывает все на свете, и мы только видим его скользящую фигуру...

Зрители замирают. Музыка делает последний аккорд. На сцену выходит из-за занавески пара оленей — ребятишки на четвереньках. У одного, играющего роль самки, приставлены рога, у другого, поменьше, детеныша, — маленькие черные рожки. Животные мирно пасутся, не подозревая опасности. Мать достает копытом из-под толстого снега белый мох и порой прислушивается. Детеныш, со свойственной ему беспечностью, бродит и играет около нее, и, при взгляде на них, у зрителя невольно пробуждается жалость к этим животным, миловидность которых совсем не вяжется с костюмами юных актеров.

В публике раздаются возгласы сожаления и вздохи женщин. Мужчины, более сдержанные, объясняют шопотом, что делают звери, и уже сами невольно начинают играть роль охотника с пробудившейся страстью.

Проходит несколько томительных минут ожидания. Охотник убеждается, что зверь близко, принимает меры осторожности, осматривает кончик стрелы и тетиву лука. Его глаза горят. Еще несколько шагов, он осторожно подкрадывается и замечает зверя... Зрители ахают и жмутся друг к другу...

Вдруг у охотника загорелись глаза и задрожали руки. Проходит минута раздумья. Он пробует, бросая снег, откуда веет ветер, соображает, как подойти из-за ветра, обходит зверя, ползет. Самка, до сих пор не замечавшая опасности, становится беспокойной и к чему-то прислушивается, подняв голову. Детеныш перестает играть и прижимается в испуге, чувствуя беду, к боку матери.

Еще одна-две минуты и стрела запоеет в воздухе. Охотник же поднимает лук...

Как вдруг мы слышим в юрте тревожный треск знакомой всем маленькой лесной серенькой птички, треск, настолько похожий, настолько естественный, что мы даже вздрогнули от него, припомнив такие же тихие минуты в лесу, когда неведомо откуда над вами появляется эта птичка и начинает азойливо трещать, преследуя вас шаг за шагом.

Я взглянул, — это пищал в руку, выделывая что-то языком, старый манси, игравший роль невидимой птички.

Стрелок вздрогнул и опустил лук. Олени тревожно подняли головы и на секунду затихли. Потом, убедившись в опасности, о которой их предупреждала птичка, они лихо вскинули рога на спины и скрылись из вида... за занавеску.

Стрелок остался один с опущенным луком, в досаде, а над ним потрескивала, но уже более спокойная за участь оленей, птичка. Он, казалось, не знал, что делать. На его лице выражение досады и страха. Он задумывается. Потом подходит к дереву и вырезывает на нем подобие фигуры человека с громадным носом. Зрители прыскают от смеха. Это он изобразил шайтана. Потом он выдергивает из одежды щепоть шерсти и прикрепляет ее, как единственную свою жертву, к стволу дерева под изображением.

Птичка умолкает. В лесу наступает тишина. Охотник становится веселее и снова отправляется в лес по следам оленей, бегая на лыжах мимо нас по юрте. Теперь он чему-то рад, теперь у него что-то другое в мыслях; он весело окидывает взором окружающий лес, и порой, когда наклоняется и осматривает след оленей, его лицо сияет такой надеждой, что зрители снова падают духом, предчувствуя беду для бедных животных, не зная еще, какой хитростью возьмет их охотник.

Но дело скоро объясняется просто: олени пошли тише, детеныш устал, снег глубок для него, чтобы он мог бежать долго. На сцене снова появляются из-за занавески олени. Детеныш едва дышит, мать его в тревоге, и они беспомощно останавливаются, предчувствуя, что за ними крадется охотник.

Вдруг самка вздрагивает и делает два шага. Она услышала охотника, который неосторожно ступил на ветку, но не может убежать, оставив детеныша. Охотник еще не видит, бежит, как вдруг останавливается и смотрит сквозь деревья. На его лице радость. Он неторопливо снимает с плеча лук и достает стрелы. Он старательно осматривает их, снова пробует, откуда тянет ветер, бросая на воздух снег.

Олени стоят, прижавшись друг к другу, вздрагивая от треска ветвей: они все видят, они томительно ждут смерти. Детеныш жмет к груди матери, боясь, чтобы она не убежала. Он лижет ее шею, он жмет к ней свою голову.

Проходит несколько томительных минут. Зрители с затаенным дыханием ждут развязки. Вот рука охотника поднимается с луком, вот он опускается на колени, натягивает тетиву.



Манси Яким Бахтияров с р. Выжай, лучший охотник-стахановец, сдает пушнину в приемочном пункте пос. Тошемка, Издельского района.

кладет стрелу, вот целится долго, томительно, мучительно для нас, и вдруг мы видим, как самка взвивается на дыбы со стрелой в боку и, сделав предсмертный скачок в воздухе, падает мертвая на снег... Детеныш в ужасе отскакивает и стоит, не понимая, что случилось... Охотник в восторге, он машет руками, показывая свое торжество.

Настроение публики достигает высших пределов: женщины в слезах, дети поражены и замолкли, мужчины смущены.

Представление заканчивается глубоким молчанием. А старик, слепой музыкант, между тем уже снова играет свои мелодии на „лебеде“, словно стараясь шумными звуками сгладить впечатление драмы.

К. Носилов.

ИЛЮША-ОХОТНИК

После долгих блужданий по темным и сырым ельникам тропа вывела нас к речке. Это был один из притоков Лозьвы. До зимовья, где предполагался ночлег, оставался час ходьбы, но уже темнело да и лошади еле держались на ногах. Решив дальше не итти, мы развьючили лошадей и стали устраиваться на ночь.

Погода портилась. Дождь сменился снегом, дул сильный порывистый ветер. Костер из сушняка разгорелся скоро, но мы долго не могли найти подходящего леса для нодьи. Нодья — это особый вид костра, дающий много тепла. Ближайший сухарник состоял главным образом из ели, а это дерево горит в нодье плохо. Семену, моему проводнику, хотелось соорудить нодью из сосны или кедра, как это делают зыряне.

Наконец, все устроилось: нодья горела. Нам оставалось лишь выкурить после ужина по последней трубке, чтобы последовать затем примеру нашего лохматого пса: он уже давно спал, пригревшись у огня. Но вдруг собака проснулась. Она подняла голову и насторожилась.

— Белку, верно, учуяла, — заметил Семен.

Так прошло с минуту. Ветер раздувал костер, и по поляне бежали багровые отблески. Собака послушала, пошевелила острыми ушами и опять свернулась комочком. Но через минуту снова вскочила и с злобным лаем бросилась в темноту.

— Скорее всего это медведь, — сказал я.

Семен взял в руки ружье: надо было поугубить зверюгу. Но выстрелить он не успел. „Стреляй не надо“, — слышалось вдруг из окутанного мраком леса, и немного погодя к нашему огню вышел маленький человечек.

— Здорово, — приветствовал он нас по таежному обычаю.

— Вот и гость на огонек, — проговорил Семен, рассматривая пришедшего.

Я тоже смотрел на него с любопытством. Снег в эту минуту шел густой, и сначала мне показалось, что мы видим женщину. Присмотревшись однако внимательнее, я увидел, что ошибся: это был мальчик лет четырнадцати. Одет он был в короткую оленью куртку и такие же унты, голову покрывала шапка из меха рыси, у пояса болтались охотничий нож и две белки. В руках он держал лук, за спиной висел мешочек с деревянными стрелами.

— Иду — ночь, смотрю — огонь, вот и пришел, — объяснил необыкновенный охотник свое появление и, сняв с головы шапку, стал отряхивать с нее снег.

— Ты вогул? — спросил Семен.

— Однако так, моя манси, — коротко ответил он.

— Куда же ты идешь?

— Наша юрта иду. Надо лыжи в тайгу принести. Зима скоро...

Мальчик держался как взрослый и было видно, что он уже давно привык к самостоятельности. На наше предложение поесть он молча кивнул головой и, повесив на дерево свой лук и сумку, подсел к огню.

Ел он с большим аппетитом, пользуясь при этом своим острым ножом: засунув в рот большой кусок мяса, он ловко отрезал его у самых губ.

Паренек был любопытный, и мы разговорились. Впрочем, он лишь отвечал на наши вопросы, а сам ни о чем не спрашивал.

Мы узнали, что зовут нашего гостя Илюшей, а отца его Василием, по прозвищу Волчьи Ноги. Это прозвище он получил за то, что зимой загнал волка, преследуя его на лыжах больше пятисот верст. Потом Илюша рассказал, что юрта, в которой они с отцом живут постоянно, находится на Лозьве, а сейчас они оба лесуют в охотничьей избушке, неподалеку от нашей стоянки. Отец бьет зверя из ружья, а он, Илюша, охотится с луком — ружья у него нет.

— С луком сто лет назад охотились, много им не убьешь, — заметил на это Семен.

— Ничего, маленький зверь моя хорошо стреляй, — сказал Илюша и указал на своих белок. — Прямо в глаза попади.

— А если с медведем повстречаешься?

— Ему тоже стреляй в глаза, — улыбнувшись ответил первобытный охотник и рассказал, как он однажды справился с этим сердитым зверем.

— Моя соболиная ловушка смотрел. Иду, смотрю: стоит медведь и мой соболь жрет. Сердитый я стал. Кричу, — жрет, иду — стоит. Тогда стреляй ему стрела в глаз. Ой, как кричать стал, шибко больно стало. Лапа себе морда бей, потом бежать давай. Бежит и дерево цепляй — глаз совсем кончал.

— Так в глаз и угодил косолапому? — недоверчиво спросил Семен.

— Однако так, — спокойно подтвердил Илюша, очевидно не видя в этом ничего особенного. — Теперь один глаз ходи.

Много интересного рассказал из своей охоты с луком нам еще Илюша.

Поздно за полночь мы стали устраиваться ко сну. Мы с Семеном улеглись по одну сторону нодьи, Илюша по другую. Чтобы было теплее, мы набросали под себя веток, но наш гость лег прямо на мокрую землю. На мой вопрос, не будет ли ему ночью холодно, он ответил:

— Моя холода нету, всегда так спи.

Ночь прошла спокойно, а утром, наскоро погревшись чаем, отправились в путь. Илюша пошел с нами. Он вызвался провести нас своей тропой, которая, по его словам, значительно сокращала дорогу к селенью, и это было очень кстати. Наши лошади уже давно голодали, а эту ночь совсем остались без корма. Снег шел всю ночь — установилась зима.

Некоторое время шли берегом речки, потом круто свернули в сторону. Никаких признаков тропы мы не видели, но наш проводник, помахивая луком, шел быстро и уверенно, как свой человек в лесу. И сначала я не мог понять, чем он руководствуется, выбирая направление. Обычно, когда идешь в тайге целиной, всегда или залезешь в невылазную чащу или попадешь в болото. Теперь же мы шли, почти не встречая на своем пути никаких препятствий.

Секрет этого, однако, скоро обнаружился. Илюша вел нас по особым дорожным знакам, которые находил на стволах деревьев, — это он называл своей тропой, потому что такие знаки делаются только вогулами. Охотник-манси, бывая в тайге, всегда оставляет после себя след и для этого существует целая система знаков.

Первый такой знак я увидел на стволе старой лиственницы, когда мы вышли к какому-то ключу. Знак был двухсторонний. С одной стороны на дереве были вырезаны олень и несколько черточек, с другой — нечто вроде избы и тоже черточки, но иного характера. Илюша тотчас же расшифровал эти иероглифы.

— Эта сторона ходи, — махнул он луком, — юрта придешь, туда ходи — корм оленю будет.

— А что значат палочки? — любопытствовал я.

— Юрта надо ходи полдня, ягель ходи день, — последовал такой же лаконический ответ.

Знаки попадались самые разнообразные и, зная их, можно было ориентироваться в тайге, как по карте.

Мы шли по этим знакам уже часа три. Перешли вброд через маленькую речку, поднялись на увал и стали спускаться в долину, заросшую смешанным лесом. Вдруг залаяли собаки. Илюша остановился, снял с плеча свое первобытное оружие и стал всматриваться в вершину ели.

— Белка... — тихо сказал он.

Зверек, мелькнув пушистым хвостом, затаился в ветвях. Но вот с дерева посыпались снежинки. Без малейшего шороха охотник сделал несколько шагов, вынул из мешочка стрелу и приготовился. Снежинки посыпались сильнее, и немного погодя в хвое показалась рыжая мордочка. Стрела запела в воздухе. Белка подпрыгнула и, цепляясь за сучья, пушистым комком упала в снег.

Илюша спокойно двинулся вперед и подобрал добычу.

— Эта зима, — сказал он, — моя будет ружье покупай. Белки нынче много.

— Ты всегда стреляешь без промаха? — спросил я.

— Однако нет. — Илюша улыбнулся. — Когда торопись, всегда стреляй мимо, или вот когда ветер сильный есть. — И, помолчав, добавил: — Но сегодня моя мимо нету.

— Почему?

— Поет шибко хорошо, — и он указал на тетиву лука.

Это была его примета. Если тетива, когда к ней притронешься, гудит громко — охота будет удачная и, наоборот, из охоты ничего не выйдет, если тетива звучит тихо. В этот день она гудела у него отлично.

Пошли дальше. Скоро собаки опять что-то облаяли, но далеко в стороне. Илюша к ним не пошел. Он торопился вывести нас на тропу, чтобы отправиться затем в свой пауль за лыжами, а потом снова вернуться в тайгу. Первая поро-

ша — драгоценное для таежника время, и упускать ее Илюша не хотел. А до его пауля оставалось еще больше полдня пути.

Метки на деревьях стали попадаться реже и скоро прекратились совсем. В полдень мы поднялись на пологий увал и, выйдя на вершину, остановились.

Мы стояли на тропе, по которой шли с Семеном до встречи с Илюшей. Задача, взятая на себя охотником с луком, была выполнена. Отсюда до селенья, куда я шел, по его словам, было не больше двух часов ходьбы.

Табак — таежное угощение. Набив из моего кисета трубку, Илюша неторопливо раскурил ее и, показывая рукой куда-то в сторону, сказал:

— Теперь моя туда ходи. Прощай.

— А то пойдем и дальше с нами, — шутливо предложил ему Семен. — В Москву приведем.

— Москва? — Илюша поднял брови. — Москва шибко далеко.

— А ты слышал про Москву? — поинтересовался я.

— Слышал маленько. Большой, говорят, пауль.

Илюша вскинул на плечо лук и зашагал в сторону. Я стоял и смотрел ему вслед. Лук покачивался у него на плече, у пояса болтались три белки. Через минуту он дошел до опушки леса и, не оборачиваясь назад, исчез в кустах.

* * *

Прошло шесть лет. Я сидел на вокзале в Свердловске и ждал поезда на Сибирь. Газета была прочитана, папиросы утратили всякий вкус. Чтобы убить как-нибудь время, которое всегда в таких случаях тянется очень медленно, я подошел к книжному шкафу и стал рассматривать выставленные книги.

Вдруг кто-то дотронулся до моей руки. Я оглянулся.

Передо мной стоял человек лет двадцати, одетый в защитную куртку. На груди значек КИМ. Черные волосы коротко острижены. Но где я встречал это лицо? Оно было типично для жителя Северного Урала: темное, скуластое, нос немного приплюснут, у глаз монгольская складка. Нет, не помню.

— Не узнаешь? — проговорил незнакомец. При звуке этого голоса в памяти вдруг встали — тайга, ночевка, лук, дорожные знаки, охота на белку...

— Илюша!

— Однако так. Я тебя сразу узнал...

Через десять минут мы сидели за столом, и Илюша рассказывал мне историю своего чудесного превращения. История

для советской действительности обычная: первая в тайге национальная школа, затем Институт народов Севера... Им рассказать ему было о чем, но пришедший поезд ограничил нашу беседу. Однако, воспоминание об этой встрече я храню до сих пор.

Да, меня узнать было не трудно: за шесть лет я мало изменился. Но как было сразу узнать в этом человеке с Кимовским значком того почти первобытного человека, который так бесподобно бил из лука белок.

Илюша шагнул из одного века в другой. И я невольно вспомнил его отца, загнавшего на лыжах волка.

А. Смирнов-Сибирский

ВАСИЛИЙ ХАТАНЗЕЕВ

На Вишере, на европейском склоне Урала, разные люди говорили по-разному о Хатанзеевых и Хозяиновых. Одни утверждали, что Хатанзеевы — зыряне, другие спорили: нет, Хатанзеевы — остяки, третьи полагали, что Хатанзеевы — вогулы. Что касается адреса, то все сходились на одном: где-то на хребте, по горной тропе, на пути к Денежкину камню есть распадок, гарь, речка, а в километре южнее („направо“) стоят юрты. „Впрочем, — утверждали знатоки северных мест, — вы сейчас в юртах никого не найдете. Люди уехали с оленями на Кваркуш“¹.

Трое суток наша группа шла таежной тропой по камням и болотам от Усть-Улса на Вишере, через хребет, на прииск Сольва. Тщательно мы всматривались в гари и распадки, но не нашли юрт. В глухой тайге мы встретили другое: к стволу большой ели был приколот кусок фанеры и на нем выведено: „дорога на Кваркуш“. Конечно, никакой дороги на Кваркуш не существует, но тут начинается узкая, проложенная между деревьев, тропа, отличить которую от окружающей тайги может только опытный, испытанный в тайге глаз.

— Это Хатанзеевы свой летний адрес повесили, — сказал наш проводник.

Мы не нашли ни юрт, ни их обитателей. А хотелось увидеть, что случилось теперь с людьми, прародитель которых в

¹ Кваркуш — горная цепь.

девятнадцатом столетии бежал и спрятался от человеческого общества, чтобы сохранить жизнь себе и детям. Обессиленный неравной борьбой с купцами и властями, отец и дед сегодняшних Хатанзеевых бежал в свое время с берегов Белого моря. Он гнал стадо оленей несколько тысяч километров, выискивая, где-же, наконец, есть на земле спокойное место для „инородца“. Хатанзеев проехал тундрой, затем он свернул на юг и „пошел Камнем“. На рубеже Европы и Азии, на водоразделе Волги и Оби место показалось Хатанзееву безопасным: на десятки километров в любую сторону не было ни троп, ни дорог, ни людей. Зато в изобилии ходил зверь. Зверя Хатанзеев не боялся, наоборот, он рассчитывал извлечь из него пользу.

Тут, среди тайги и камней, Хатанзеев дал начало новому роду. Рядом появились еще беглецы — семья Хозяиновых. Люди жили, множились. Потом умерли старики, состарились дети, возмужали внуки. Хатанзеевы слышали и видели, как в конце прошлого столетия французские капиталисты пытались подойти к хребту с запада: на Кутиме, притоке Вишеры, зачала домна, а по берегу Улса забегал паровозик. На востоке, под Денежкиным камнем, притулился золотой прииск Сольва. Через хребет пошли люди и проложили тропу. Хатанзеевы подумывали: не поискать ли им для своего одиночества новых мест. Но вскоре камни на хребте вздрогнули: то обанкротившиеся французы своими руками подложили под Кутимский завод динамит и подожгли бикфордов шнур. Прииск Сольва заглох. Там еле теплилась тихая, сонная жизнь.

Хатанзеевы жили... Зимой они скрывались от холода в юртах, летом уходили с оленями на Кваркуш. Потом Хатанзеевы забыли свою национальность — их называли „инородцами“. Они говорили по-зырянски, но не были зырянами. Они не числились в списках народонаселения Российской империи. И никому до них не было дела.

С тех пор утекли десятилетия и все изменилось и на Вишере, и на Лозьве. Что же случилось с Хатанзеевыми? Или новая эпоха не смогла прорваться сквозь таежные заросли? Или не слышали Хатанзеевы строительных грохотов первой пятилетки? Или не достигла до Кваркуша всемирная слава Вишерской бумажной фабрики и гудки с прииска имени Серебровского?

В ясный солнечный день мы вышли из хребта к Сольве. Перед нами открылась величественная панорама. Далеко на север и юг, пока хватал глаз, тянулись голые, покрытые

лишайниками и мхами, каменные гряды Северного Урала, снежные белые поля серебрились на их склонах. Чуть восточнее, на полтора километра вверх поднял свою вершину Денежкин камень. Стоял редкий безоблачный день, когда можно было видеть эту замечательную гору целиком от подошвы до вершины. Прииск Сольва казался игрушечным перед лицом мощных горных цепей.

Из мира охотников мы попали в мир золотоискателей. Поселок выглядел безлюдным. Коровы, позвякивая боталами, паслись на поросших травой улицах. Старатели ушли на речку Елменку, где недавно открыли новое золото. Но Сольва осталась центром приисковой жизни — здесь клуб, школа. Раз в восемь дней сотни золотоискателей стекаются к Сольве. На улицах тогда заливается гармоника, молодежь пляшет, брага пенится в кружках и веселье плещется большим прибоем...

Тут мы встретили Василия Хатанзеева — внука первого поселенца на хребте. На четверке оленей, запряженных в нарты, он приехал из гор и промчался по улицам. Олени красиво несли рога. Закрытый капюшоном, Хатанзеев кричал гортанно и непонятно. Крики его распластывали тишину.

Скоро он пришел в приисковую контору, и служащие приветствовали его:

— Вася приехал. Давно ли?

Невысокий, плотно-сложенный молодой человек широко улыбнулся:

— С Хасатуба полянками ехал...

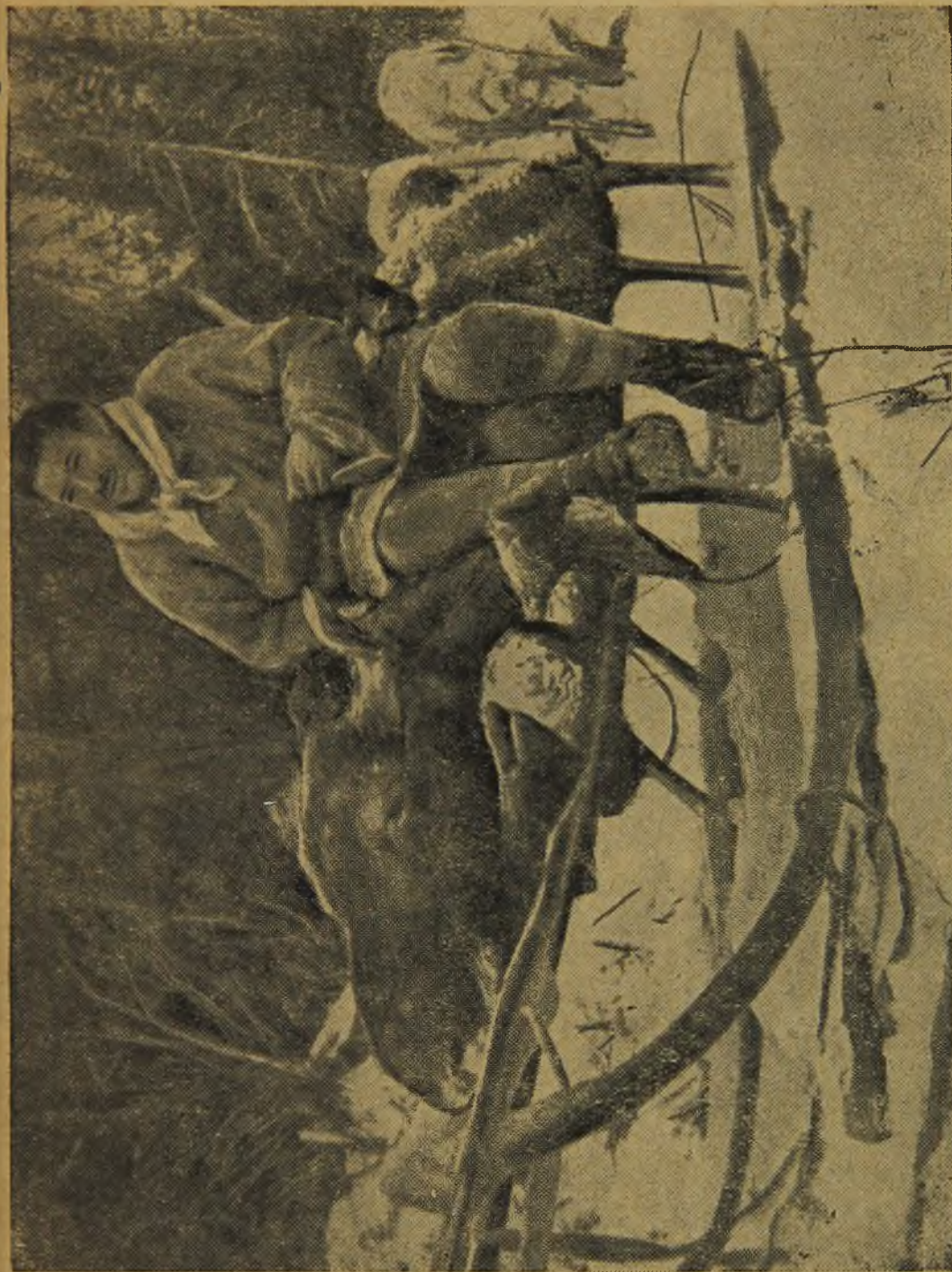
Улыбка расцвела на всех лицах и кто-то сказал:

— Тебе, Вася, везде полянки. Где медведю не пролезть — тебе и там гладкое поле.

— Поедем, провезу, — ответил Василий Хатанзеев.

Он стоял веселый и добродушный и ни одна черта в нем не вязалась с теми рассказами о Хатанзеевых, о их прошлом, которые мы слышали на Вишере. На нем были брюки „на выпуск“, цветной шелковый джемпер и поверх него пиджак. Черные смолевые волосы, плохо, видимо, подчинялись гребенке, но они были расчесаны. Горное солнце покрыло лицо Василия Хатанзеева блестящей бронзой, в глазах искрилась молодость, а улыбка была какой-то необыкновенно ясной и свежей. Он был красив, Василий Хантазеев!

Вел он себя в конторе обыденно, как свой человек. Просто, сопровождая разговор улыбками, он рассказывал, что приехал затем, чтобы сообщить, что по его мнению у Белого камня



Манси-охотник с тушей погруженного на нарты лося.

есть золото. Кроме того, он хочет помыться в бане, а родные, пасущие оленей на Кваркуше, наказывали привести мыла и... газеты. На Кваркуше давно не читали „Правду“ и соскучились без новостей.

Незаметно прошло полчаса в беседе. Василий Хатанзеев словно привез с собой в маленькую комнатку конторы бодрость и радость. Был у этого человека какой-то свой юмор и свой подход к явлениям жизни. После долгого пребывания в тайге, Василий Хатанзеев радовался новому обществу и ему хотелось говорить.

Он рассказывал:

— А с богом я теперь окончательно поругался... Никакого бога не знаю больше...

Рассмеялся и стал рассказывать о том, как убил один на один первого медведя, о том, что это было весной и медведь только выспался, а потянуться после сна не успел: ему пошало пять пуль. Тогда медведь хотел убежать и на ходу задрал собаку, по кличке Сова. А Василий Хатанзеев при этом струсил и две пули выпустил зря. Итого медведь стоил семь пуль и собаки.

И комната снова огласилась звонким смехом — Василий Хатанзеев вспомнил, видимо, сцену охоты и ему стало весело.

Мы вышли на улицу. Я рассказал Хатанзееву, как мы искали на хребте юрты и не нашли их. Он посмотрел на меня с удивлением.

— Юрты? Наши теперь не живут в юртах. Это раньше в юртах жили. Сейчас мы в избах живем. Хатанзеев Николай у нас старателем стал. Хозяинов Яков тоже. Хатанзеев Петр на русской женился... Она веселая: говорит вроде кудахчет. Летом на Кваркуш ездим. Там оленям хорошо. А зимой на оленях груз на прииски возим.

И спросил:

— А ты мою квартиру видел? Посмотри, как живём... Раньше, говорят, наши рыбу с кишками ели. Я подумал: как бы я стал есть? Противно, горько...

Мы пришли в избу Василия Хатанзеева. Картины украшали ее белые стены. Стол был застлан чистой рисунчатой клеенкой. Комнатные цветы зеленели на окнах.

— Слушай,— сказал я, а ведь скучно поди на Кваркуше то после прииска?

— Скучно? Почему там будет скучно. Отец самоуком грамоте научился, газеты читает, все слушают. И у Хозяиновых

теперь грамотные есть. Я гармонь купил: „Коробейников“ играю, вальс, сербиянку, „вдоль по улице“...

...Во дворе стояли четыре оленя, привязанные к нартам. Их мучил овод. Василий Хатанзеев спугнул насекомых и заговорил с оленями на зырянском языке. Я слушал непонятный говор, и мне представилось:

...Горы. Камень. Лес. Полыхающие костры. В свете костров группа вчерашних беглецов от человеческого общества, слушающая чтение газет. Хатанзеев, играющий на гармонике вальс...

На следующий день четверка оленей унесла Хатанзеева и газеты в горы, к подножию Кваркуша...

А. Маленький.

ОЛЕНЬИМИ ТРОПАМИ

Узкие оленьи тропы то круто спускаются вниз, то вновь поднимаются, скрываясь в тайге, и так на сотни километров — тянутся через горы, болота, через глухие безмолвные леса.

Зимой, когда бесчисленными огоньками горит нетронутый снежный покров, — „оленьи магистрали“ имеют огромное значение в экономике Ивдельского района. По ним к отдаленным золотоплатиновым приискам быстроногие олени везут груженные товарами нарты; по ним едут на прииски люди из города; по ним доставляется почта.

...Зимняя ночь начинается рано. Не успеет солнце спуститься за горизонт, как видимые при дневном свете повороты, спуски, подъемы пропадают в сплошном белом фоне.

Мы шли в 50 километрах от Ивделя — самого северного районного центра нашей области. Впереди на широких лыжах, обшитых оленьей шкурой, бежал наш проводник зырянин Яша Онуфриев.

Бесконечные снега расстилались вокруг, еле заметна я оленья тропа тянулась в сугробах и, казалось, что не будет конца этому пути среди безмолвия и снегов.

И вдруг до нас донесся собачий лай. Мы вышли на холм, и внизу под нами засверкали огоньки Тошемки — селения манси.

Через несколько минут мы уже сидели в тепло натопленной избе райсовета. Павел Бахтияров — председатель совета, — гордясь, поставил перед нами новый патефон, и мы слышали в тайге голос народной артистки Литвиненко-Вольгемут.

Бахтияров радушно улыбался, выбирая новые пластинки. До революции он жил в отдаленном чуме однообразной, тоскливой жизнью.

Теперь его жизнь стала иной. Он не раз бывал в Свердловске, он ведет большую работу, связанную с улучшением жизни и быта манси.

Наш разговор был прерван скрипом двери. В избу вошло несколько манси, узнавших о нашем приезде.

— Пася! Пася! — приветствовали они нас.

К нам подсел Николай Онуфриев, недавно приехавший из Свердловска, где ему Союзпушнина подарила за отличную охоту лыжный костюм и сорочку с галстуком.

— Хорошо ли живешь? — спросили мы его.

— Сака иамас (очень хорошо), — отвечал Онуфриев.

— Хорошо живем, — подтвердил Бахтияров. Вот школу построили. Хорошая школа. Лучший дом на Тошемке. И магазин есть, продукты и мануфактуру из Свердловска привозят. Тридцать домов на Тошемке выстроили. А три года назад Тошемки не было, манси кочевал в снегах — ищи его, как ветра в поле...

— Сколько у вас оленей? — спросили мы.

— Да кто его знает, — отвечал Бахтияров. — Вот Петр — у него штук 150—200 есть. Разве оленей в тайге сочтешь. Кухту едят, мох. Умный олень сам под снегом пищу находит. Как надо груз везти, берешь широкие лыжи и идешь искать по следам. Нашел — петлю на рога бросаешь. По-ехали!

...Утром, когда мы открыли глаза, золотые лучи солнца уже освещали избу.

Погода была на редкость хороша. Выйдя на улицу, мы видели маленькие дома Тошемки, над которыми столбами подымался дым. За ночь их еще более занесло снегом. Рядом райсоветом возвышался большой дом школы. Около него бежали краснощекие в суконных малицах ребятишки.

Учительница пригласила нас зайти в школу. Вначале она провела нас в комнату, где живут школьники. Родители приносят сюда ребят из далеких чумов и оставляют их здесь на попечение школы. Большая светлая комната произвела на нас хорошее впечатление. Вдоль стен стояли аккуратно убранные кровати, все было опрятно, чисто.

Возникла школа не без затруднений. Манси вначале относились к ней недоверчиво, местный шаман старался это недоверие разжечь.

Но учительница Шурыгина не отступала, и школа, наконец, была все же открыта. Занятия в ней начались с рисования „сали“ — оленя.

Много перемен произошло в Тошемке. Перемены самые разнообразные. Никита Бахтияров остриг свои косы. Школьница Нина Бахтиярова стала учить мать стирать белье. Манси слышали пионерские песни, которые разучили их ребята. В райсовете установили радиоприемник с громкоговорителем. Василий Олесин купил бритву и одеколон.

Софья Анямова была хорошей охотницей. Она метко била зверя... Недавно приехав в Ивдель, Анямова сдала нормы на ворошиловского стрелка.

В тайге вокруг Тошемки Союзпушнина выстроила 4 избушки для охотников...

...Мы торопилась, так как погода могла быстро измениться. Быстро позавтракав, двинулась в путь. Впереди попрежнему шел Яша. После ночной пурги тропы были занесены, и нам приходилось итти, утопая в сугробах.

Вскоре перед нами растянулось на несколько километров болото, поросшее карликовыми соснами. Вдали вырисовывался хребет Керт-ер. Нам нужно было подняться на него, чтобы попасть на Зауральский прииск.

После трудного подъема мы остановились на вершине хребта. На несколько десятков километров вокруг не было видно ни одного темного пятна. Все было белым, будто чья-то заботливая рука укутала Уральские горы бесконечным белым покрывалом.

Недалеко, в ложине, мы заметили чум. Над ним вилась струйка дыма. К нам донесся легкий звон оленьих колокольчиков.

— Пойдем к Василию Олесину, — предложил Яша. — Рад будет!

Мы быстро спустились вниз.

Из чума вышел хозяин. Он приветливо поздоровался с нами и пригласил к себе. Посреди чума был разведен огонь, пол устлан оленьими шкурами, на шестах висела разная домашняя утварь.

Василий занимается охотой и оленеводством. Оленей у него, как он говорил нам, штук 50 или 70 — точно он не знает.

— Волк губит оленя, — рассказывал Василий. — Хитрый зверь. Знает где олень есть. Ночь, пурга, следов не видно. Одного съест, за другим погонится. Сегодня ночью двух загрыз. — Выйдя из чума, Василий показал нам двух оленей с распоротыми животами.

— Ну, погоди!— Василий погрозил кулаком.— Ружье у меня новое, я им покажу, как обижать моих оленей.

Мороз крепчал. Тайгу заволакивало белесой дымкой.

— А не мерзнешь, Василий, в чуме?— спросили мы.

— Зачем мерзнуть?— удивился Олесин.— Шкура теплая, малица теплая, огонь есть, продукты есть,— чего надо?— Раньше сахару, муки не было и в чуме было холодно, а теперь — сако иамас! Вот убью лису — куплю радио, буду Москву слушать. Дети мои в школе учатся, сако иамас...

...Снова лежали перед нами оленьи тропы, снова ослепительно вспыхивали вокруг белые снега и далеко позади поднималась тоненькая струйка дыма над чумом Олесина.

П. Мальков.

„СЧАСТЛИВАЯ ЗЕМЛЯ“

(Из прошлого хантэ)

В чуме, приютившемся на опушке таежной глухомани, кажется, нет никаких признаков жизни. Ветхий чум еле сдерживается под напорами ветра — ветер вот-вот сорвет его с земли, и взлетит он огромной черной птицей в воздух...

Сугробы завалили его вход. Вокруг не видно ни следов человека, ни собаки, ни оленя, ни полозьев нарт. Лишь из дымового отверстия вверху ветер изредка вырывает клочки дыма и развевает их в пространство. Это — единственный признак теплящейся жизни.

У костра посреди чума сидит женщина и неподвижно смотрит в огонь. Время от времени она бросает в него хворост и снова каменеет. Только когда порывы ветра содрогают жилище, когда в щели ветхого покрова его врывается колющий тысячами неведомых лезвий холодный северяк, она зябко кутается в свою изодранную одежду.

Беден чум снаружи, беден он и внутри. Котел висит над костром, несколько шкур в углу — вот и все. Большая нужда, безжалостная нищета глядит из каждого предмета в чуме. Пустынно. Неуютно. Холодно...

Вот опять жестокий порыв ветра потряс жилище. Кутается в лохмотья шкур женщина у костра. Из угла с лежанки поднялся мальчик, подошел к огню:

— Что, мой маленький Андрейка, холодно? Грейся у огня, — говорит женщина. — Почему не спишь, сын?

— Холодно, — ответил мальчик, присаживаясь к костру. — Холодно. Есть хочется. Хочу мороженой рыбы, большой-большой кусок. Где отец, почему он не привез нам из лавки кренделя и сахара?

Мать взглянула на него печальными глазами и ответила:
— Ты, Андрейка, большой вырос. Скоро в лес один белковать пойдешь, по звериным тропам пойдешь, слопцы и луки настораживать будешь. Везде ходи, сын, но далеко обходи дома царских людей. Никогда, Андрейка, не меняйся подарками с ними и не ходи в лавку к ним. Ты видишь сам, какой отец стал! Как приехали в леса к нам царские люди, построили стойбище на реке, привезли пьяную воду, худо шибко стал жить наш род. Ясачники и целовальники берут большой ясак, поят мужчин водкой и отбирают оленей и добытого зверя...

Она говорила теперь уже для себя. Маленький Андрейка, как и отец сутулый и плосколицый, многого не понимал из слов матери. Он сидел и слушал больше не ее слова, а таинственный говор тайги.

Женщина продолжала:

— Вот и твой отец слаб стал к веселой воде. Добрые хозяева давно ушли в леса от худых людей, увели с собой олешек, унесли капканы и скликали собак. А твой отец остался, ходит меняет на водку оленей, собак, зверя, утварь... Ум его ушел из него, Андрейка. Три дня назад взял он мою последнюю ягушку и ушел в стойбище русских.

— Он придет скоро и даст мне сахар и рыбы? — встрепетнулся мальчик.

— Да, принесет, сын, принесет много кренделя, много жира и чая, — говорила мать и лгала сыну и себе. А потом она посадила Андрейку рядом с собой, спрятала его голову в свои колени и стала рассказывать ему и блуждающим ветрам древнюю хантэйскую сказку:

„...Мышонка, реки у изгиба, гнездышко там находится.

Однажды льдинки пронеслись... Мышонок сказал:

— Льдинка! Подальше! Мое гнездышко не задень.

Лед заговорил. Сказал:

— Раз если пронесусь, по обыкновению не спрашиваю, гнездышко ломаю.

Мышонок сказал:

— Льдинка! Отчего твой нос по амбару вырос?¹ Солнце тебя растопит. Пользы от тебя обыкновенно не бывает.

Солнце заговорило. Сказало:

— Мышонок! Почему твой нос по амбару вырос? В моем таении льда твое какое дело?

¹ В смысле: чего ты так высоко нос задираешь.

Мышонок сказал:

— Раз пронесусь — много льда рек пробегаю. Кочки по склону увижу — забегу. Тучи по верху идут — ты вовсе не светишь. В это время от тебя пользы не бывает.

Облако заговорило. Сказало:

— Мышонок! Солнца в моем закрывании тебе какое дело?

Мышонок сказал:

— Облако, почему твой нос по амбару вырос? На Голом Камне¹ если твоя половина останется — от тебя пользы не бывает...

Голый Камень заговорил. Сказал:

— Мышонок! Тучи половины в моем отставании — тебе какое дело?

Мышонок сказал:

— Голый Камень, почему твой нос по амбару вырос? Самец росوماхи если тебя обмочит, пользы от тебя никакой нет.

Росوماха заговорила. Сказала:

— Мышонок! Голый Камень как я обмочу — тебе какое дело?

Мышонок сказал:

— Почему по амбару нос поднял? Хантэ пасть² твою воду разбрызжет, пользы от тебя не бывает.

Хантэ пасть очень уже деревянная. Она не заговорила...³

* * *

Не успела сказка уйти вместе с ветрами из чума, не успел маленький Андрейка уснуть, как слышались в вое ветра дикие крики людей.

Женщина насторожилась, долго вслушивалась в крики, а потом поспешно схватила мальчика и ушла в „поганный“ женский угол чума.

Вскоре отлетела в сторону от удара ноги шкура у входа и вместе со снегом и ветром в чум ввалились две фигуры, одетые в малицы. Люди были пьяны. Тяжело ступая непослушными ногами, один из вошедших дошел до костра, упал к теплу и заорал:

— Матвей Дакимов! Садись на хорошее место к котлу! Почетный гость ты у меня, только зачем ты старому Петьке Саймонову не даешь больше водки! Дай немного еще, друг!

¹ Голый Камень — Уральский хребет.

² Пасть — примитивная ловушка, падающая на зверя сверху.

³ Сказка „Мышонок“ — фольклорный документ прошлого хантэйского народа.

Тот, кого называли Матвеем Дакимовым, тоже грузно опустился на земляной пол к огню.

— У нас в Березове много купцов повелось нынче. Иди, яляньчи к другим, остяк. Что ты дашь взамен? Зверя промышлять бросил, хозяйство стащил в трактир — чем платить будешь?

— Дай денег, друг, — пьянея еще больше от тепла, заявил Петька Саймонов. — Бери чего хочешь...

Не договорил, запнулся, впялился в лицо вдруг вышедшего из темного угла Андрейки:

— Ты принес калач и сахар, отец? Я есть хочу. Дай рыбы, — просил мальчик.

Испуганная мать молчала в углу. Отец разглядывал лицо сына, а гость, подумав немного, неожиданно предложил:

— Знаешь, Петька, отдай мне своего сына! Денег дам. Водки купишь. Опять веселый будешь. Все равно сдохнет он у тебя с голоду ведь. А?

И быстро откинув полы малицы, пошарил в кармане камзола и вытащил на ладонь грудку серебра.

— Ну, давай, — сразу согласился Петька, увидев деньги. Он схватил деньги, крепко зажал их в руке и бросился вон из чума. С улицы донесся его крик:

— Я пойду сейчас за водкой. Опять буду веселым...

Матвей Дакимов с силой вырывал из рук матери сына, отбросил в угол обессиленную женщину, схватил Андрейку, прыгнул с ним в нарту и быстро исчез в лесу под завывание непогоды.

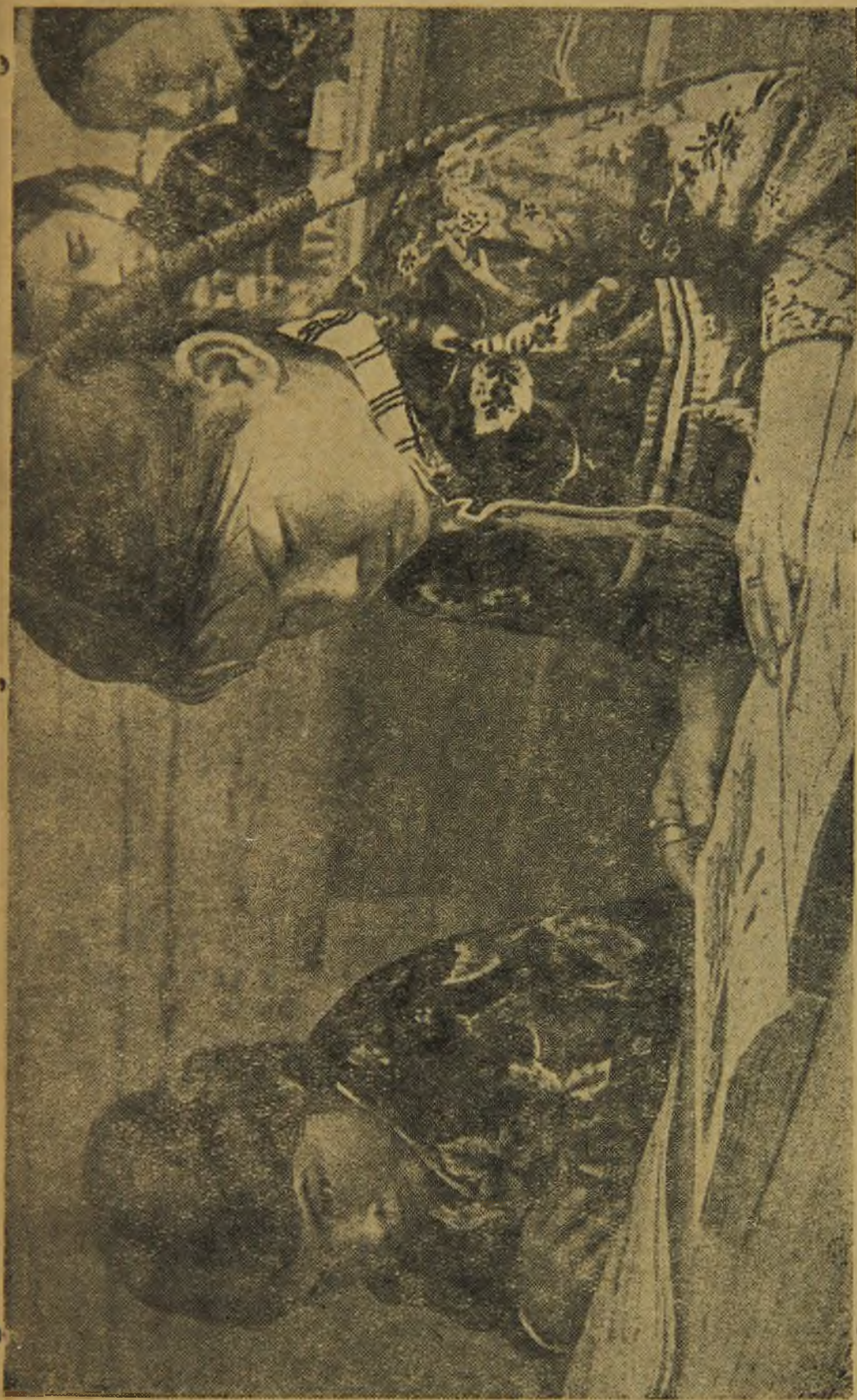
* * *

В Березове Дакимов, чтобы отвязаться от посещений вечно пьяного отца Андрейки, продал мальчика за два рубля проезжающему через Березов по „царским делам“ тобольскому посадскому Матвею Плуту.

Из родной тайги увезли хантэ Андрейку Саймонова в мрачный, разгульный городище Тобольск. Пугали мальчика, никогда не видевшего ничего кроме тайги, воды да тундры, сумрачные цитадели Петровской крепости, высокие, казалось падающие, колокольни церквей, шум улиц и трезвон колоколов.

Плутув хвастался своею живой покупкой, показывал Андрейку, дикого хантэ, гостям, боярам, воеводам и челяди.

Все с любопытством осматривали мальчика, ощупывали, смеялись над его пугливостью и этим озлобляли. С самого



Дети манси на занятиях в мансийской начальной школе в поселке Тошем.

детства в его душу вкрались ненависть и печаль. Когда его оставляли в покое, он забивался в угол и лежал там, скучая о родине. Ночами видел сны, как он вместе со своим отцом летом ловили рыбу и потом ели ее сырьем. Видел, как отец брал его с собой на беличью охоту, как учил сына ставить силки и настораживать лук... Когда его забывали, он сутками не вылезал из своего убежища, голодал, мучился неподвижностью и бездельем, но упрямо сидел, ничем не напоминая о себе. А когда за ним приходили или сам Плутон или кто из челяди, Андрейка не выходил, отбивался, кусался и плакал протяжно и неумело. Там, у себя в лесотундре, в суровой земле, он никогда не плакал. Упадет, или располоснет ножом руку, или его покусает собака, — всегда молчал Андрейка, ибо знал, что слабые не живут в этой земле. Отец так учил его:

— Когда собака притащит щенят, вынеси их на мороз и брось в снег. Тот щенок, который заскулит и поползет к матери — худой и его нужно убить. Слабая собака будет, однако! А который молчит или в лес поползет — того береги пуще всего. Волк, а не собака будет.

А здесь плакал Андрейка. Не от боли, а от отчаяния, от злобы и ненависти. Был похож он в эти минуты действительно на затравленного зверька, который решил дорого променять свою жизнь. И это особенно нравилось гостям.

— Дикарь!

— Людоед!

— Язычник!

Хором галдела толпа. А он исподлобья глядел на них с пылающей ненавистью в глазах.

Проведал про него сибирский архиерей. Дошла молва до ожиревшего от „денного и ночного бдения и моления“ миссионерского пастыря о „язычнике“ и „идолопоклоннике“ Андрейке. Призвал он к себе посадского Матвея Плутова и отпросил остячка к братьям-монахам в обитель.

Так Андрейка Саймонов стал воспитанником миссионерской школы.

Шесть долгих лет чах и мучился Андрей в стенах миссионерской школы. Никакие „слова божьи“ не могли смирить и укротить дикое вольное сердце сына лесов. Наоборот, всякое словопоучение к смирению вселяло в него огромное презрение к этой религии, которая говорит одно, а делает и разрешает делать другое. Монахи никак не могли заставить „язычника“ забыть прежние обиды.

Андрей был теперь уже не маленький мальчик, а высокий

юноша с голубыми, как лед, глазами. Он аккуратно делал то, что его заставляли делать. Регулярно, механически утром и на ночь крестился и шептал молитвы, смысла которых не знал, а только лишь вызубрил на память. Дальше этого успехи его не шли. Монахи жаловались на него старшему брату-миссионеру. Андрея сажали в карцер, секли, накладывали трудные взыскания, но он оставался прежним. Молча исполнял требы, так же молча отсиживал время в карцере и, поцеловав белую руку монаха, уходил в семинарский сад.

Летом и зимой он бродил здесь, среди редких деревьев и попрежнему тосковал по лесам, по водным просторам, по родному чуму и матери.

Самым любимым другом в его духовной тюрьме была жалкая маленькая дворовая собака. Он кормил ее, и она всегда ждала его в саду. Бросив ей хлеба, Андрей садился на траву рядом и рассказывал ей о тайге:

— Много зверя в лесу там. Птицы много. Хорошо ходить за ними по следам. Убежим, собака, отсюда в лес...

Или устраивал игру в охоту и учил ее, как скрадывать зверя. Эти игры развлекали его и поддерживали его дух. Зато безмерно угнетали его бесконечные молитвы, чтение евангелия, длинные поучения монахов.

Однажды осенью он решил бежать.

Темной августовской ночью Саймонов забрал собаку, перелез через каменную стену монастырскую, вышел к реке, отвязал чью-то лодку и поплыл по течению. Днями или плыл тихо или прятался в талах, а ночью работал на веслах...

Прибыв в Березов, пробрался к своим местам и не нашел ничего. Старый рыбак, у которого он нашел приют, помогая ловить рыбу, рассказал однажды Андрею печальную историю его семьи.

— Как увезли тебя, не успел растаять снег, как мать умерла. А отец долго еще ходил по Березову, побирался по дворам, а потом воровать даже начал. И все нес за водку. Четыре зимы прошло, как замерз пьяный в снегу. Рванный был, холод был, умер человек...

Не нашел утешения в родной тайге бездомный парень. Без радости ходил он в урмане. Все напоминало ему здесь о его детстве. Но не тянуло Андрея бродить за зверем, готовить силки, плашку и плавать на колдане за рыбой. Бродил он сумрачный и молчаливый. В груди его кипели горячие ключи ненависти к этим жестоким людям. Старик видел, что переживает Андрей.

— Ты бы ушел отсюда, Андрей — сказал он как-то. — Есть на севере, далеко отсюда, за лесами Казымскими, свободная земля, куда не пришли еще купцы и попы. Говорят старики, в той земле много нашего народа живет. В тундре с оленями ходят — хорошо живут. Уходи туда, парень. Молодой ты, за зверем ходить можешь, оленей пасти научишься и будешь жить хорошо. А здесь плохо. Я вот стар, а то ушел бы с тобой. Уходи.

Запала эта мысль Андрею в голову. Захотелось уйти от худых людей к своему вольному, как говорил старик, и свободному народу, в эту счастливую страну. Собаку оставил старику (стара стала — пусть вместе помирают) и ушел на север искать вольную и свободную землю.

Нес он туда свою мятежную ненависть, ярость и желание хорошо работать. Хорошо, честно жить. За спиной уносил колчан со стрелами, в руках тугой лук старика.

Долго шел Андрей. Сколько холодных ночей и дней пережил он за дорогу в поисках счастливой страны! Уже редели и мельчали леса, свирепее становились ветры. Начиналась тундра...

Долго шел парень, пока не встретил случайно обоз оленей и ненцев, кочующих по первому снегу в сторону Березова.

— Куда путь твой лежит, друг? — спросил Андрея старый ненец, погонщик первой упряжки.

— Я ищу землю вольную и счастливую, где нет царских и торговых людей, где не убивают, не разоряют хозяйство и не заставляют верить в других богов, друг. Говорят в Березове, что есть такая земля туда дальше, — махнул рукой на север Андрей. — Туда не пришли еще худые люди царя, и мой народ живет хорошо, сытно. Туда иду я.

— А разве в Березове худо живут? — с тревогой спросил старик, жадно заглядывая в глаза Андрею, пока тот говорил.

— Шибко худо. Нет правды там! Оленей отбирают, бьют, зверя берут за водку.

Замолчал Саймонов и безмолвствовал старик-ненец. Олени отдыхали на снегу и молчали женщины и сыновья старика на нартах. Долго молчали оба, пока не спросил сам себя оленевод:

— Так куда же? Где тропа к правде? Я тоже ищу эту счастливую страну. От несчастья и бед ухожу в Березовские леса. Ты не ходи туда, хасово. Много русских пришло в тундру. Туда же много худых законов привезли с собой царские люди. Много песцов и лисиц отбирают за ясак, много отрубают оле-

шек. Худые русские шаманы заставляют силой поклоняться новому богу, имена предков заставляют бросать и звать по новому... Где же правда?

Так долго и молча стояли они — искатели украденной своей боды и правды. Молча простились и пошли своей дорогой.

* * *

Опять долго шел снегами Андрей наедине с своими печальными думами. И вот, сияющим утром зимнего дня увидел он далеко-далеко на горе дома. „Обдорск!“ — решил Андрей, — и быстрее зашагал вперед. Шел и боялся поднять голову на гору, боялся увидеть то, что так глубоко ненавидил, отчего бежал. На полдороге поднял голову и застыл, как камень.... Высоко в небе, выше всех домов, блестел над тундрой золотой крест церкви!

Сколько стоял он — не знает, только вышел вдруг из оцепенения, выкрикнул что есть сил: „где правда?“ и бросился бегом напрямик к символу своих страданий. Бежал, по поясу вяз в снегу, падал, вскакивал и вновь бежал.

Подбежав к церкви, Андрей торопливо взял наизготовку лук и стал посылать стрелы в деревянный позолоченный крест. Одну за другой слала тугая тетива стрелы кверху, в золотое зло тундры, в несчастье тайги и заполярья...

Собирался народ, бежали стражники, а он все стрелял и стрелял, пока не сбили его с ног.

Упал Саймонов — питомец миссионерской Тобольской школы — около подножья опозоренного им храма, а вверху, впившись в позолоченное дерево креста, раскачивались две стрелы... Православные набросились на Андрея, били его долго, до потери памяти. Потом отвели его к воеводе.

Через десять дней предстал Андрей Саймонов перед судом Обдорской самоедско-остяцкой управы. Судили его быстро, ибо он и в управе, и на допросах воеводы молчал, как рыба.

Ни побои, ни бешеная ругань воеводской своры, ни сладкие увещания миссионера-монаха не открыли его рта для ответов на вопросы. Он крепко стиснул зубы и раскрывал их только для кровавого плевка на пол. Озверелые христиане-миролюбцы отбили ему легкие.

Приговор суда, витиевато выведенный вороватым дьячком, гласил:

„...бить сто раз плетью и потом водить по селу для позора“.

Секли жестоко. Во время экзекуции хлынула у него из горла кровь и залила всю грудь. Андрей не стонал, ни о чем

не просил. К концу порки вновь потерял сознание. А потом отлили его ледяной водой, накинули на шею веревку и водили по селу для позора, для посмешища и острастки.

Через несколько дней Андрей Саймонов умер.

Вместе с ним не ушли в промерзшую землю попытки порабожденного народа найти правду, найти вольную и счастливую землю. Но в ту эпоху они напрасно искали ее.

А. Климов.

ХОЗЯИН НЕУНКО

(Из прошлого хантэ¹)

Речка Тасымка течет в Обь. Среди бесчисленных рукавов, островов и протоков величавой реки впадение Тасымки почти незаметно. От Тасымского пугола до Оби зимой день езды. Летом на лодках по извилистой реке надо плыть три дня.

Рыболовство здесь главный промысел хантэ. Нет рыбы — людей задушит голод. Нет в округе пугола, которому бы так же дорого доставалась рыба, как Тасымскому.

Надо держать вдвое больше лодок, чем требуется для промысла. Живи народ на Аси или в другом рыбопромысловом месте, не было бы надобности после ледохода сниматься с насиженного места с семьей, со всем скарбом, бросать юрту и плыть на летнее стойбище, на Ась.

У многих тасымских жителей нет больших лодок. Приходится их брать у старосты Неунко Локыса. Дает он лодки не даром, а по давно установленной плате — пять корзин — пятнадцать пудов крупной рыбы за лето.

Сразу после ледохода по реке плыть нельзя. Надо ее очистить от коряг, разбирать завалы — набросанные зимними буранами и подточенные весенним разливом деревья. Речка с каждым годом мелеет и заболачивается. Осенью, после промыслов, прежде чем возвращаться с рыбой в зимние юрты, роют канавы на перекатах и обмелевших местах.

Летом Тасымский пугол безлюден. Остаются только два-три самых дряхлых старика сторожить пугол. Им тоже платить надо.

Никто не уверен, что вернувшись к себе на Тасымку после семенова дня, рыбак застанет свою юрту целой.

¹ Отрывок из повести „Урмам“

Может быть, найдет он только головни и золу. Такие случаи часты.

Кто-то когда-то из хантэ сказал: надо перекочевать на „большую дорогу“, на Ась. С тех пор народ все чаще и чаще начинает говорить об этом. Староста Неунко Локыс такие разговоры принимает, как личную обиду и нарушение законов рода, и говорит:

— Думает ли народ, какое худое слово кладет? Место, где нам жить указал сам Тарым. У кого поднимется рука на Тарыма? Худые люди у нас заводятся... Вот беда...

Однако пока не было людей, которые открыто сказали о своем несогласии с обычаями рода, законами Тарыма и старосты.

Близилась весна. Во многих юртах давно не видали рыбы и хлеба. Питались мхом и березовой корой. Наступало время готовиться к кочевью на летнее стойбище. Пока Неунко вместе с работниками своими Пронькой и Терешкой охотился в урмане, в народе созрело определенное решение этой весной переселиться на Ась.

Как унять народ? Утром собрал сходку — мыр.

— Ходил я в волость, к начальнику, — врал Неунко. — Сказал: „народ кочевать на Ась хочет“. Худым словом обругал меня начальник. „Нету, говорит, закона зорить народ. Жить надо там, где указано“. Начальник-то друг мой. Поругать-то поругал, а тихонько стороной шепнул: „дурак ли, что ли, народ на Тасымке стал? Живут хорошо, просят худа. Придут на Ась — каждый день у меня на глазах будут. Подводы давай, ясак другой будет, начальников вози, лошадь отдай... В другом пуголе хромой лошади нет, войско взяло...“ Вот беда. Гляди, народ, сам не маленький. Что надо было — сказал.

Локыс рассчитал точно и верно. У многих пробежал холодок по спине после слов старосты. Некоторые мысленно корили себя: как это они раньше не подумали об этом? На Тасымке хоть и далеко от рыбы, но спокойно.

— Ну, так ладно, видно, нет охоты на худое дело, — заключил разговор Неунко. — Глядите, как бы больше рыбы промыслить.

Народ разошелся...

...Неунко вышел из юрты в одной рубахе и замигал красными воспаленными глазами. Предвесеннее яркое солнце его ослепило. Горели вершины сосен и берез. Зеркалом блестели полозницы. Топорище воткнутого в чурбан топора сверкало, как лакированное. Неприбранные дрова, натрясен-

ное у загона сено, брошенный у дверей юрты котел, неприкрытая труба чувала,— все это разозлило бы Неунко и он разругал бы баб, но сейчас был в таком настроении, что не обратил внимания на беспорядок.

Он оглядел редко разбросанные под березами юрты пугола и с гордостью вспомнил своих предков, выбравших это место для житья. Крутые берега Тасымки дремали под раскидистыми березами. По обеим сторонам реки в небольшой ложине растянулся пугол.

Как крепостным валом, его окружают высокие гривы, поросшие бором и березняком. Зимой в ложине тихо, бураны шумят вверху, их не пускают в пугол гривы. Летом сухо. Нет мошки, комара и овода.

Здесь Неунко Локыс чувствует себя полным хозяином двадцати трех семей. Как он может согласиться и допустить, чтобы люди ушли с этого места. Ась широка, просторна — Ась большая дорога. Разбредутся по ней люди и, подобно воде, утечет его власть.

„Чего еще людям надо, — вздыхает Неунко, — всех кормлю. Дурак ты, Неунко, добра много делаешь народу...”

Через реку стоит юрта Андрея Пырчина, отца его работника Терентия. Андрей вышел из юрты с топором на плече. С боку, за поясом, висит пустой мешок. Встал Андрей на лыжи и пошел чераз гриву.

„Кору березы да мох собирать пошел“, — догадался Локыс. — „Ешь, ешь, не больно сытно. Ведь опять ко мне придешь. Больше всех зовешь народ на Ась...”

Неунко ушел в юрту. Жена подала обед. Ел он сегодня за троих. Съел ковригу хлеба, обмакивая большие куски в чашку с рыбьим жиром, опустошил корыто вареных окуней и еще потребовал сырого мяса. От задней оленьей ляжки осталась половина. Несколько раз отрыгнул. Погладил живот, покурил и уполз на нары. Жена убрала объедки и ушла из юрты.

Утром на рассвете в юрте Неунко опять собрались люди. Каждый пришел сам по себе. Когда переступил порог юрты Андрей Пырчин, в ней сидело не меньше половины мужчин селения. Этого Андрей не ожидал. Хотел было повернуть обратно, но уловил запах вареной рыбы и свежего хлеба... Захмелел. Рот набух слюной, голова закружилась. Не чувствуя ног, опустился на корточках у порога.

Люди сидели молча. У всех лица бледные, сухие, как кора сохнувшего дерева. Упершись рукой в пол, Андрей по-

чувствовал укол. Поднял руку и чуть не задохнулся от удивления и радости: на мякоти ладони повис целый скелет окуня с хвостом... Сжал руку и спрятал далеко в рукав ма-лицы. Огляделся кругом, нащупал позвонки костей, отломил один и, низко наклонившись, сунул его в рот.

Кость показалась ему слаще свежей осетрины. Растер ее на зубах и медленно проглотил.

Неунко сидел на нарах, заспанный, одутловатый, широко зевая. Он знал зачем пришел народ: один просить рыбы, другой хлеба, третий мяса, четвертый ниток. Люди молчали. Молчал и Неунко.

Рассветало. Поднялось солнце. Люди сидели. Скажет кто-нибудь слово о пустяке и опять молчание. Это начинало раздражать Неунко. Он решил позлить пришедших.

— Вот беда. Совсем худая пора пришла. Совсем нечего есть стало. Скоро ли работники из урмана придут? Мох да кору надо собирать. Сам, вот, не могу. Ноги совсем не ходят, руки топор не держат с голоду...

Локыс обвел взглядом сидящих и остановил его на Андрее. А тот продолжал сосать и жевать кости. Слова Неунко он не слышал как что-то далекое, его не касающееся. Сейчас Андрей чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Он даже забыл зачем пришел к Локысу.

— Судите, народ, что делать будем. Умирать...

Неунко осекся. За окном мелькнула тень. Стукнули о стену лыжи. Скрипнула дверь. У порога остановился красный, разгоряченный Терентий.

— Что?.. Что, Терешка, у тебя лицо горит, как у купца? — спросил Неунко, вставая с нар.

— Пронька идет!..

— Кха! — рывкнул на всю юрту Неунко и толкнул работника обратно за двери. — Ты научишься ли, нет ли жить? К чему держишь лишний язык! Идет Пронька — хорошо, скажи сперва мне. Делать надо так, как сказано. Везет ли зверья?

— Везет. Гонит оленей шибко...

Вернувшись в юрту, Неунко опять посмотрел на народ и решил сказать хорошую весть.

— Пронька зверя убил. Скоро в юрты приедет. Их-пелы-ры-вель-вель устраивать надо. Мяса-то давно не ели...

Андрей от волнения чуть не подавился костью. Кашляя до слез, он видел, как люди на миг окаменели, оглушенные сообщением Локыса, потом повскакивали с мест и с криком бросились к дверям...



Река Тошемка в окрестностях мансийского поселка Тошем.

— Стой! — остановил их Локус.— Совсем сдурел народ с голоду. Какой толк без дела кричать и суетиться. Иди тихонько, зови народ, встречать надо хозяина леса. Андрей, ты бы маленько перестал кашлять. Ты у нас самый старший. Веди народ...

Андрей вытер слезы, все еще тихонько покашливая, и молча вышел из юрты. За ним вышли остальные. Андрей уже ощущал запах парного мяса, а во рту таяли куски жира и мозг из расколотых крупных медвежьих костей. Сильнее закружилась голова, он пошатнулся, но не забыл наказа Неунко. Остановил идущих и, сам не зная чему, улыбнулся.

— Зови народ! — и побежал через реку к своей юрте с криками: Их-перы-вель-вель! Их-перы-вель-вель!

И загремел этот радостный клич по всему пуголу у каждой юрты.

Неунко потребовал у жены новую малицу, новые кисы, новую рубаху. Достал из-за иконы медаль и стал одеваться.

В это время работник Прокопий вел к юртам три упряжки оленей. На передней он ехал сам, навалившись спиной на привязанную к задку нарты медвежьей голову и шкуру. На двух задних нартах была сложена разрубленная туша медведя.

Пронька весело пел:

„Где бывал ты, где ходил?“
„По лесам да по ручьям,
По борам, по берегам,
По болотам, по горам,
По черемушникам“.
„Чем ты сыт был, что ты ел?“
„Ел дичину, мертвечину,
Разну ягоду,
Всем был сыт я в разну пору.
Вот весна всегда голодна
(Хоп парана леды антом):
Утка хитра — не добудешь,
Достаю тогда коренья,
Да не больно они сытны.
Я тогда хожу сердитый,
Потому — совсем голодный.
Я совсем тогда не сытый,
Зверю, людям — всем опасный.
Как созрела на болоте
Крупна ягода — морошка,
Стал я сытым, не сердитым —
Все равно не попадайся.
Рыл я в гору себе нору.
Вырыл, моху настелил.

Осенью туда забрался,
Листом следья занесло.
Было мне тепло, спокойно,
Я проспал бы до весны,
Слышу: ходят люди, рубят,
Лыжи по снегу шумят.
Заревел я — приумолкли,
Вдруг лесиной в бок толкнули...
Не стерпел я и полез.
Только вышел я не в пору —
Пуля сделала свое“.

Пронька хотя еще и очень молод, но не раз бывал на медвежьих вечорках — их-перы-вель-вель. Он всегда завидовал героям праздника — охотникам, добывшим медведя. Сбылась на этот раз его мечта: он убил хозяина леса. Теперь Пронька услышит:

— Вот Пронька. Вот храбрый охотник!

Пронька знает — медведь когда-то был сыном Тарыма, жил с ним где-то высоко. Звали его Михаилом. Только нос у него стал расти по амбару — загордился очень Михаил. Тарым рассердился и сбросил его на землю. Упал он голым в развилину дерева. Лежал долго, так долго, что весь оброс мохом. Стал он просить, чтобы освободил его Тарым, дал вольную жизнь и считал бы его своим сыном. Подумал Тарым, сказал: „Ладно, дам тебе жизнь, будь медведем. Бояться тебя народ станет, будут клясться твоим именем, а убивать тебя будут и хоронить с почетом“.

Михаил стал медведем, а мох — шерстью.

Медведь любит правду и бережет ее на земле. Поклянешься лапой или головой медведя, да нарушишь клятву — все равно зверь съест. Встретит медведь человека в лесу и встает на дыбы для того, чтобы спросить Тарыма, велит он ему задрать человека или не велит.

Медведь даже мертвый все слышит, все знает, что думает человек. Нет человеку спасения, если он когда-нибудь соврал „царю леса“.

Пронька везет медведя, поет и восхваляет силу и могущество хозяина леса.

Народ собирался к юрте Неунко. Собрались мужчины, женщины, дети и ожидали в торжественной напряженной тишине. Андрей стоял на дороге с обнаженной, поднятой кверху головой. Андрей весь ушел в слух. Он видел, как три нарты подъезжали к пуголу. Вот они остановились у крайней юрты.

Дикий воинственный крик покатился по ложине... В лесу отдалось эхо и замерло. Люди вздрогнули, переглянулись, но не издали ни единого звука, не сделали ни одного шага. Второй раз тот же воинственный крик огласил пугол. И сейчас народ молчал и не двигался. Только после третьего крика Андрей махнул рукой. Из юрты вышел Неунко и сказал:

— Итти надо.

Люди двинулись за Неунко вдоль пугола туда, откуда Пронька кричал три раза. Пронька уже развязал нарту, открыл медвежью голову.

Первым подошел к нартам Неунко. Он поставил рядом с головой медведя куженек с водой, поклонился до земли, поцеловал морду зверя и сказал:

— Царь леса!

Макнул пальцы в куженек и обмыл себе лицо. За ним подошел Андрей и сделал то же самое. Каждый подходил, кланялся, приветствовал зверя и омывал лицо водой. После этого человек прощен медведем, если он когда-нибудь врал, кого-нибудь обидел.

— Мыр,— заговорил Неунко,— повезем царя леса в юрту Миколки. Он сейчас гоняет почту, юрта у него пустая. Там и праздник будет.

Двинулись нарти в пугол. За ними шел народ. Андрей поймал за рукав Терешку.

— Парень, в берлоге подняли зверя?

— Нет, Пронька шатуна убил,— оглядываясь, вполголоса сказал Терешка.

— Шатуна? Чистый ли он? Может, жечь надо,— забеспокоился Андрей.— В брюхе-то был ли комок человеческих волос?

— Нет. Сам свежевал.

— Ну, так ладно.— Андрей облизал губы и заторопился.

* * *

Забыта работа. Люди повеселели. Стали живее и крикливее. Пугол готовился к большому празднику. Неунко запрег лошадь и уехал к своему русскому другу Андрону в село Полуденное, за самогоном.

Женщины обрядили голову зверя. На нарах постлали шкуру медведя. Передние лапы свешивались до полу. На шкуре лежит голова. Она повязана шарфом, на темя надета шапка. Рядом с головой берестяные куженьки с сушеной рыбой, варкой, орехами, кусками хлеба. У самой морды зверя костяной гребень.

Перед входом в юрту повесили два котла.

Неунко велел Проньке одеть халат с медными блестящими, как солнечные зайчики, пуговицами.

— Парень, ты не знаешь. Встретит царь леса человека и выступят у него под кожей белые пятна. Увидит пуговицы — легче станет.

Неунко шел на праздник вместе с работниками. Терешка шел позади хозяина. Он неимоверно потолстел после возвращения Неунко из Полуденного — и придерживал свой огромный живот руками... Неунко велел Терешке остаться за дверью.

Юрта Миколки была полна народом. Сидели на нарах, на полу, стояли у порога. Курили, разговаривали. Весело пылал чувал. Мужчины в самых лучших малицах и пимах. Женщины нарядились в цветные платки, на косы нанизали медные и бронзовые безделушки, бубенчики, кольца, просверленные серебряные монеты. Почти у всех пришедших на праздник в руках берестяные маски.

С матерями пришли дети, принесли даже грудных младенцев. На праздник пришли дряхлые и слепые старики. Никого не осталось в юртах.

Войдя в юрту, Неунко остановился, разглядывая народ.

— Бабы, какой вы народ — ребят унять не можете, — крикнул Неунко, недовольный криками и шалостью детей.

Неунко прошел к нарам. Пронька поискал глазами себе место. Не нашел его и сел у порога. Халат на Проньке висел неуклюже, светлые пуговицы в полутьме сверкали, как волчьи глаза. Люди заметили Проньку и вытолкали его вперед к нарам.

— Вот парень у меня промыслил. Праздник нам дал. Сам молодой, а ум у него с лошадь. Готов ли ты, Андрей. Время, поди? — сказал Неунко.

Начался обряд медвежьего праздника.

Андрей достал палочку и нож. Сел на нары и громко вздохнул.

— Какое у тебя горе, старик? — спросил Неунко. — Не печаль хозяина леса.

— Печалить-то нельзя, да приходится.

— Беда какая на хвост тебе села? — притворно обиделся Неунко.

— Беда у нас не сходит с плеч. Раньше лучше было, веселее. Огненной водой угощались...

— Где ее нынче возьмешь? — грустно вздохнул Неунко.

— Вот то и беда,— согласился с ним Андрей.— Без нее праздник — какой уж праздник...

— Терешка! — крикнул Неунко.

Между тем, Терешка стоял в одиночестве на улице и чувствовал, как ноют руки, и вот-вот упадет из-под малицы ведро с самогоном. Ведро уже сползало вниз по животу, еще несколько мгновений — и оно скользнет на землю. Осторожно ступая, Терешка зашел за юрту, сел на снег, подобрал подол малицы. В нос ударил соблазнительный сивушный запах... В ведре, полном самогона, плавала шерсть, мусор. Но Терешка не мог удержаться и прильнул губами к краю ведра. Обожгло внутри, но Терешка пил крупными глотками. Терешка хотел приложиться к ведру еще раз, как его сердито окрикнул Пронька.

— Хозяин зовет!

Пронька понял, что Терешка изрядно выпил самогону, но не подал и виду. Отобрал у него ведро и понес в юрту. Неунко с притворным удивлением вскочил с нар.

— К чему, парень, воду несешь? На это бабы есть. Ты уж не маленький.

— Вода это, да не та,— ответил заученный ответ Пронька.

— Какая же это вода?

— Работник убил царя леса, а хозяин Неунко принес мыру веселье. Попробуй-ка!

В руках у Проньки появилась чайная чашка. Он черпнул ею из ведра и подал Неунко. Тот понюхал, посмотрел на собравшихся и выпил залпом.

В юрте нетерпеливое движение. Наиболее смелые и любопытные протянулись посмотреть, что за диковинную воду принес в ведре Пронька. Неунко отстранил их рукой, подал Андрею полную чашку самогона. Тот, по примеру Неунко, выпил ее тоже залпом, вытянул по-гусиному шею и вытаращил глаза...

— Андрей глаза держи! Выскочат — в урман уйдут! — засмеялся кто-то.

— Глаза-то на месте, вот ум как бы голову не прошиб и не ушел. Вот это вина-а! — открыл широко рот Андрей.

Третья чарка пошла герою дня — Проньке. Затем Неунко стал обносить по порядку всех собравшихся. Женщины пили не хуже мужчин. Так же крикали, так же сплевывали горечь на пол. Некоторые делили свою долю даже с детьми.

Исчезла натянутость. Разговор стал громче и шумнее. Чаше его стал заглушать веселый раскатистый смех. В на-

растающем шуме каждый хотел перекричать соседа, и со стороны можно было подумать, что началось не торжество, а свалка и драка.

Только Неунко оставался невозмутимым. Он черпал из ведра самогон. Угощал.

— Пронька, долго ли ты народ морить будешь! — недобровольно спросил Неунко.

Пронька подошел к медведю и поклонился.

— Царь леса, не сердись на меня. Я не виноват, что ты умер. Ружье сделал русский, порох и пулю тоже он привез ханту. Я ходил по урману, смотрел ловушки. К чему ты меня пугал? К чему ты задел насторожку и спустил стрелу?

Пронька надел маску и начал плясать. Люди отступили к стенам, к порогу. Пронька ссутулился, растопырил руки. Выворачивая пятки и сгибая тело, то одним, то другим боком медленно крался к зверю. Пронька подражал охотнику, скрадывающему зверя, и пел:

„Охотник собрался промышлять белку. — Я сегодня десятка два убью, — сказал он. — Пошел в лес, а ружье оставил дома. Ходил, ходил, увидел белку. Схватился, а ружья-то нету. Думал, потерял дорогой. Стал искать по всему лесу. Пронька искал весь день, не нашел. Пришел домой. Спрашивают: „Что убил“? „Что поделаешь, ружье не стреляет, видно, испортилось“. „Врешь, ружье ты дома оставил“. „Все равно: если бы и взял, не стал бы стрелять“.

Спел одну песню Пронька, Андрей сделал зарубку на палочке. Пошел Пронька второй круг. Руки за спиной. Его осанка хвастлива, голова поднята. Шагает он так же медленно, но уже не выворачивает пяток. Приплясывает мелкими шажками. Поет окрепшим голосом на всю юрту:

„Увидел охотник трех лосей. Думает: „Вот и деньги есть, пойду продавать лосину“. Пришел домой, сидит в его юрте торговый человек. „Ну, брат, спасибо, приехал. Купи лосины“. „Сколько возьмешь?“ „Десятку за мясо“. „Да ведь они у тебя в лесу“. „Они пока живы“, — сказал охотник. Ты сдурел, к чему продаешь живых“. „Я сейчас убью“. Взял охотник ружье, пошел стрелять. Лосей не нашел, сам заблудился. Спасибо, бабы дрова собирали, указали дорогу“.

Третью песню, коротенькую, спел Пронька о рыбаке.

„Ставил рыбак морды среди сора и увидел на берегу диких оленей. Бросил морды, поплыл к оленям. Олени разбежались и морды уплыли“.

Неунко поднес ему чашку самогона.

— Пей, 'парень, остатки. Все выпили. Вот тебе оставил. Пей!

Выпил Пронька и закачался. Качнулась и юрта, и народ... Чуть не задохнулся. Вышел на улицу. За порогом юрты запнулся за Терешку и повалился в снег.

В этот вечер было спето под пляску полсотни песен. Андрей каждую отметил зарубкой на палочке.

На другой день к Неунку пришел Андрей. С ним два человека.

— Мыр просит тебя, Неунко, дай второе ведро вина.

— У меня река водкой запружена, што ли? Вот, право, народ!

— Есть у тебя, Неунко. За одним ведром на Полуденную протоку не поедешь. Платиться мыр маленько будет.

— Чем платиться-то?

— Платиться чем придется.

— „Чем придется“ — выходит, не платиться. Скажи, что делать-то будете?

Андрей не был уполномочен решать этот вопрос. Задумался,

— Пушниной, поди.

— Сколько? Давай полсотни белок.

— Сейчас спрошу.

Андрей ушел. Вернулся он с пятью связками белок, взамен их унес в праздничную юрту ведро самогона. Неунко тоже ушел туда и пил сегодня больше всех...

На четвертый день кончался праздник медведя. Опять пришел к Неунко Андрей просить самогона. Локыс не взял пушнину. Он потребовал тридцать поденщин неводьбы на вонзе — весеннем рыбном промысле. Люди согласились. Условие заключили зарубками на палочке. Раскололи ее надвое: одну половину взял Неунко, другая осталась у выборного народом Андрея.

Развели костер. В котлах варилось медвежье мясо. Все ждали вкусной и сытной еды. Пронька плясал и пел последние песни. Ведро с самогоном стояло на нарах. Андрей черпал чашкой. К нему подходили по очереди и выпивали.

Праздник кончился глубокой ночью. Пьяный пугол погрузился в сон. Не спал только один Неунко. Он высчитывал, сколько дохода ему принес их-перы-вель-вель.

Ив. Панов.

ТЕПЕРКУ

(Хантэйское народное сказание)

Жил в Урмане Теперку (бедняк). У Теперку был большой век. Жил он три сотни зим и лет. Глаза у Теперку есть, а только слепые они — сколько ни глядит Теперку, все видит одну ночь. Рыба привыкает к месту, лошадь к юрте, собака к хозяину. Теперку привык к ночи. Не столько видит, сколько слышит ухом, щупает руками и подошвами.

Теперку был хороший рыбак. Знал где какую рыбу добывать. Приходил богач:

— Теперку, ты мне должен, давай считаться.

— Давай, — отвечал ему Теперку, — нынче хватит у меня рыбы долг тебе отдать.

Богач брал всю рыбу и говорил:

— Одну половину долга сосчитались. Другую когда отдашь?

Заплачет Теперку, но терпит. Что поделаешь с богачом! Добудет пушнину, думает:

— Половину купцу за долг отдам, на другую половину юрту новую построю, ловушек заведу, чай с сахаром и с коровьим жиром пить буду.

Придет к купцу, отдаст всю пушнину. Купец поглядит в бумагу:

— Бумага говорит, наполовину сосчитались, когда другую половину отдашь?

Заплачет Теперку, но терпит. Что сделаешь с купцом, где возьмешь припасов и ловушек?

Так жил Теперку. Ел мох и кору. Спал в холодной юрте. Тепло находил у собак. Ходит Теперку по урману, слышит — все кругом стонет: река плачет от холода, зверь от голода, люди от нужды. Сколько живет Теперку, столько лет плач кругом стоит.

Идет Теперку по урману, сам плачет — жить совсем нельзя стало. Теперку голодный, в ногах силы нет. Чует Теперку — смерть по пятам идет, след в след Теперку ступает. Сколько от смерти ни беги, все равно поймает. Ущупал Теперку большое дерево, сел, привалился к нему спиной и говорит:

— Тут умирать буду.

Захотел Теперку в последний раз вздохнуть, вдруг гром ударил, вздохнуло все кругом и такой свет стал, что Теперку рукой глаза закрыл. Сколько так сидел, не помнит. Как очнулся, чует: силы стало, как у молодого, глаза снова видят.



Подготовительное отделение туземного ханта-мансийского медицинского техникума
в гор. Остяко-Вогульске.

Перед ним столик. На столе хлеб, мясо, малосольный моксун, коровий жир, сахар, чай...

Наелся Теперку. Встал. Вдохнул. Вдохнула и засмеялась земля.

— Чего смеешься, земля? — спросил Теперку, сам немного испугался: мудрено ли? В первый раз слышит — земля заговорила!

— Я триста лет плакала. В царевом городе¹ появился большой богатырь Ленин. Он убил холод и ночь. Как мне не радоваться! Теперь на меня будет глядеть только солнце. Народу дам хлеб, рыбу, пушнину, травы, лес, скот.

Удивился Теперку, ничего не сказал, пошел дальше. Видит: стоит зеленый кедр.

— К чему, кедр, ты такой зеленый, что так и обнял бы тебя? К чему такой радостный, что мне смеяться с тобой охота?

— В царевом городе появился богатырь Ленин. Он убил холод и ночь. Людям дам столько орехов, что и возами не увезут, — сказал кедр и весело замахал ветвями.

Удивился Теперку, ничего не сказал. Пошел дальше. Видит: на полянке медведь играет. Подбросит корень кверху и поймает лапами. Так-то, видно, ему забавно и весело. Испугался Теперку, хотел спрятаться, только медведь говорит:

— Теперку, иди, поиграем. Я теперь людей не ем. В царевом городе появился богатырь Ленин, он убил холод и голод. Я буду сытый, людей есть не стану. Иди, Теперку, и скажи обо мне людям.

Удивился Теперку, ничего не сказал, поиграл с медведем и пошел дальше. Пришел к реке. И ветру нет, и тихо-то кругом, река журчит, играет, полощет берега. Удивился Теперку.

Река заговорила:

— Гляди, парень, как мне весело. — Поглядел Теперку в воду и увидел в ней, как в зеркале, свое молодое, красное лицо. — Богатырь Ленин убил холод, теперь не будет меня душить лед. Дам людям рыбы — хватит им на еду и собаки будут сыты...

— Сколь ни давай, богач все возьмет! — не вытерпел, закричал Теперку.

— Парень, ты без ума не говори, — засмеялась река. — Оглянись назад.

Оглянулся Теперку, видит под вискирем сидят богач и купец. Трясутся, жмутся друг к другу, ровно мороз их берет.

¹ Ленинград.

— К чему под вискирь забились? — не утерпел спросить Теперку.

— Тише ты, парень. Не кричи. В царевом городе появился богатырь Ленин. Боимся: убьет, — и дальше под вискирь лезут.

Вспомнил Теперку, как всю жизнь голодовал и мерз из-за этих людей. Одним махом отрубил дерево.

— Ленин когда еще придет сюда, а я вам дам смерть, — ударил Теперку обухом по плечу и притоптал землю. Она там, где была разорвана вискирем, сразу срослась, ровно вискиря века не было.

Идет дальше Теперку. Пришел в пугол (поселок). Народ там разодетый, поют песни, смеются. В каждой юрте кипят котлы с рыбой и мясом. Полны амбары всего.

— К чему вы радуетесь? В какой земле вы живете — сколько у вас добра всякого?

Народ назвался. Не поверил Теперку, что пришел в родной пугол. Народ привел его в его собственную юрту. Испугался Теперку. В юрте у него горит чувал, кипят котлы, в амбарах полно добра. В юрте столько солнца, что Теперку чуть опять не ослеп.

— Добрые люди не будут смеяться над бедняком. Разбойники, вы меня в чужую юрту привели! К богачу в юрту за тащили!

— Где ты был, Теперку? — удивился народ. — Видно, на небо лазил. Пока ты лазил туда, в царевом городе появился богатырь Ленин. Он убил ночь и нужду. Гляди, добра бедняку сколько дал!

Поверил Теперку.

С тех пор ярче стал играть огонь¹ в полночной стороне, а Теперку ходит по земле, ищет такой народ, который еще не знает, что в царевом городе живет богатырь Ленин. Найдет такой народ, рассказывает, как богатырь Ленин накормил Теперку и сделал его молодым.

Рассказывает:

— Земля радуется — даст народу хлеб, рыбу, пушнину, травы и скот, потому что Ленин убил холод и ночь;

Медведь не будет есть людей — потому что Ленин убил холод и голод;

Кедр даст орехи — и возом не увезти, теперь на нем и летом и зиму будут расти шишки;

¹ Полярное сияние.

Река никогда не покроется льдом;

Хантэйский народ радуется и поет песни — в амбарах полно добра — Ленин убил ночь, нужду и голод.

Обойдет Теперку всю землю, пройдет он в царев город и скажет Ленину:

— Обошел всю землю. Весь народ знает, кто ему дал полные амбары добра. Скажи, что делать народу, чтобы такой жизни не было конца?

Ленин скажет. И опять пойдет Теперку по земле рассказывать, чему учит народ великий богатырь Ленин.

Записал И. Панов.

ГОРОД В ЛЕСУ

Полноводен Казым. Его воды текут медленно, будто стоят на одном месте. Жители рекой гордятся:

— Казым да Сосьва Обь держат. Где ты найдешь такую реку, которая до осени бережет полую воду? Пропадет Казым — по Оби пешком пойдешь. Вот какой наш Казым!..

Приказымые в два раза больше Бельгии, в полтора — Бессарабии. Знатоки края утверждают: с Казыма ежегодно можно вывозить два миллиона кубометров сосновой, кедровой и лиственничной древесины. Неисчислимы запасы торфа, глины, охры, железных руд.

Хантэ, жители Казыма, бьют пушного зверя, ловят птицу, промышляют на Оби в сорах и речках рыбу, выпасают оленей на серебристых ягельниках.

В 1927 году впервые потревожил тишину края свисток парохода. Пароход с Казыма повернул в речку Амню и в двадцати километрах от ее устья выгрузил первый товар для новой фактории. Казымский богач Васька Турым, видя гору ящиков и тюков, говорил:

— Это хорошо, — товар мне нужен.

Турым грязными, пухлыми пальцами прикоснулся ко всему. Красные безресничные глаза завистливо и часто мигали.

Турым подошел к заведующему факторией Александру Гордееву, которого он фамильярно называл Сашкой.

— Сетки я все куплю. Рыбы много ловить надо. Привезу тебе ее на трех нартах. Чаю половину, пожалуй, тоже мне дашь...

Турым обеими руками чесал седые волосы, свитые в два жгута. Вечером на фактории Турым пил у Саньки чай со сливочным маслом и свежей рассыпчатой сушкой.

— Это хорошо,— говорил опять Турым факторщику.— Товары нам надо. Пусть пароходы их возят сюда, а я повезу по юртам... Лодок у меня много. Зимой наряжу сотню,— а то и две нарт. Во! Налей, Санька, маленько чаю.

Утром Турым нагрузил лодку сетями, сушкой, маслом. Взял четыре медных чайника и два десятка кирпичей чаю.

Прошло два года со дня открытия фактории. Турым приезжал на нее два раза в год — осенью и весной. В последний приезд он не узнал места. Раньше здесь был густой урман. Фактория и три хантэйские юрты терялись в лесу. Теперь Турым увидел громадную вырубку, юрты и фактория прижались к опушке, словно хотели убежать и спрятаться в лесу. Сучьями и вершинами сосен и елей завалена была земля. Десятки людей стучат топорами возле стен больших, еще недостроенных домов. Турым взглядом искал старый святой кедр. На нем когда-то Турым повесил две головы с рогами оленей.

Кедра не было. Срез его пня слезился янтарной смолой. Обломки трухлявых черепов были завалены сучьями.

Турым оставил оленей в лесу, с тревогой, озираясь и прячась за грудой сучьев, прокрался к фактории.

— Узя,— сурово поздоровался он с Гордеевым.— Скажи, откуда появилось столько людей, кто они, не замышляют ли чего худого, что они делают?

— Здесь будет школа,— показал Гордеев на то место, где еще совсем недавно стоял святой кедр.— Отдашь ребят учиться?

— А-а-а, о ребятах подумаю...

— Тут больница, глаза тебе вылечат...

— А-а-а. Вот это хорошо...— Турым замигал трахомными глазами, и рукавом малицы вытер гной.

— Там оленья больница строится. Копытку лечить будут...

— Вот хорошо, скажи лекарю, пусть ко мне приедет, моих оленей сперва лечить надо. Скажи ему...

Заведующий факторией тряхнул головой в знак согласия и продолжал объяснять:

— Здесь выстроят дом хантэ, там баню, хлебопекарню, ледники, склады, пожарный сарай с машинами. Кульбазу строят...

— Кульбазу? Чортову басу?¹— простонал Турым.— Вот беда!

¹ Куль — по-хантэйски — чорт.

Товару на фактории много, завалены все полки и досчатый склад. Но Турым покупал товар наспех, погрузил на нарты и торопливо уехал.

* * *

В Ленинграде по-летнему были уже сухи мостовые и тротуары. Поезд, стуча на стыках рельс, уносил меня на восток. Почки на березках набухли. В канавах и выемках сочились водой грязные сугробы снега. Кама была прикрыта ноздреватым льдом. В Свердловске пылили улицы и зеркалился пруд посредине города. А реки северного склона Урала — Иртыш и Обь — еще стыли во льдах.

Надо было ждать еще десять дней первого парохода из Тюмени на низ, на Казым.

И вот я, наконец, на пароходе. Плывут (так кажется с палубы) многоцерковный Тобольск, тихое Самарово, одинокие деревни, подстриженный как бы „бобриком“ береговой тальник.

Сутки, вторые, четвертые, пятые... Вправо, за островами и протоками, осталось устье Казыма.

Березовский катер пересек Обь, двести километров бугрил тихие, ржавые воды Казыма и шнырял по извилистой Амне.

Приказымье дремлет, как старик, пригретый солнышком. Здесь и сейчас устраивают жертвоприношения — „пори“, медвежьи праздники и пляски. В лабазах, в амбарах, в юртах хранятся медвежьи головы, украшенные лентами, бисером и ожерельями. Сноха, как и сто лет назад, не смеет смотреть в лицо свекрови. Женщина погана, мужчина к ее вещам не притронется...

Как только я ступила на берег Амни, вспомнила письмо дяди-переселенца с Уссури, письмо полное мужицкого горя и надежд. „Хаты поставили маленькие — абы жить. Бог даст разбогатеет — большие дома построим“. А здесь, на Амне, уже строят дома большие и жить думают крепко, уверенно.

Густая тайга и урман расступаются перед властной рукою человека, несущего в дебри Севера социалистическую культуру.

* * *

В юрте здорово похозяйничала рука русского: убраны нары, вместо чучала — маленькая печь с крохотной плитой. Вместо подслеповатого оконца вставлена без косяков большая желтая рама с зеленоватым стеклом.

В юрте общежитие. Мне в нем отвели пока угол.

Думаю о планах школьной работы, подбираю хворост, а

ночью воюю с комарами и мошкой. Ни с чем несравнимы истязания этого гнуса. Защитить от них ничто не может: ни накомарники, ни перчатки, ни плотное жилье. Остаются нетронутыми только ноги, обутые в рабочие сапоги.

Болотистый урман плодит мириады гнуса. Воздух звенит от сплошного многоголосого писка. Однажды я оставила на пне головной платок. После работы я не узнала его — до того он был облеплен комарами и мошкой, что из красного сделался черным...

— Вскинешь ружье для выстрела — мушки не видать, вся стволина в комарах, — говорят казымцы.

В одной из юрт вблизи культбазы живут хантэ, работающие на стройке. У них круглые сутки в чувале чадят гнилушки. Они этим спасаются от гнуса.

После работы веду политическую работу среди хантэ, изучаю их быт и нравы. С каждым днем крепнет дружба со старым хантэ Спиридоном. Ему за пятьдесят лет, но он необычайно подвижен, волосы завиты в косы. У Спиридона красивые карие глаза, с немного воспаленными веками. Лицо широкое, скуластое. Нос мясистый, с широкими ноздрями. Спиридон никогда не расстается с трубкой.

Другие только спрашивают, а Спиридон и спрашивает и рассказывает. Его разговорчивость не совсем нравится остальным хантэ, но Спиридона это несколько не трогает. Он мне рассказал:

— Приказимье — старая вотчина Молданов — бывших князей югорской земли. Один из них поехал к московскому царю с повинной и стал его подъясачным. После казымские старшины выбирались только из этой фамилии. Молданы — самые сильные, самые влиятельные шаманы. Еще совсем недавно председателем тузрика был Молдан.

В среднем течении Казыма находится городок — старая столица казымских туземных князьков. Сохранились развалины башен и рва. В Юиль-крепости когда-то содержался казацкий постой. Он усмирал недовольных, руководил войнами между казымцами-хантэ и ненцами лесотундры. По зимам в Юиль приезжали из Березова купцы на ярмарку и сборщики ясака.

Юиль — городок на славе обских хантэ. При Колчаке и белобандитах, три года терзавших Север, сюда приезжали сосвинцы советоваться — платить ли ясак новому царю.

Во время первой советской переписи статистики не могли начать работу, пока народ Юиль-городка не дал на то своего согласия.

На последних катерах приехал заведующий школой-интернатом Бобин и политпросветчик Шокарь.

Из рек и болот потянуло холодом, который сразу убил мошку и комара. По утрам трава и лес покрываются свинцовым налетом инея. На школе появились стропила, а потом и тесовая крыша. Теперь все дни стали уходить на подготовку к путешествию по юртам, за ребятами для школы-интерната.

Бобин подал мысль: перед тем, как расходиться по юртам, провести собрание с хантэ — рабочими культбазы. Шокарь поддержал его, и дело сразу пошло. Накануне собрания я спросила Спиридона:

— Как думаешь, согласятся родители отдать ребят в школу? Старик задумался, потом со вздохом ответил:

— Худого в этом нет. Может быть, согласятся...

Мы собрались во временной столовой (после ее переделали на баню).

— Сильна еще власть шаманов и кулаков, — говорил Шокарь. — Многие этого не понимают, потому что их глаза закрывает темнота. Культбаза должна открыть глаза хантэ. Она научит их и поможет хорошо жить. Но культбаза очагом культуры будет только тогда, когда казымская беднота и середнячество поддержат ее. Вы, работающие здесь, хантэ должны показать пример. Вы первыми должны отдать учиться своих ребят в школу...

— К чему заставляете нас итти против мыра? — перебил Шокаря Никита из Тутле-Егомкурта. — У нас не принято учиться грамоте. Мыр не захочет...

— Верно, надо сперва узнать, что мыр скажет, — поддержал Никиту Илья, сын Спиридона. — Пусть старики слово кладут. Сперва на Юиле надо спросить.

Мы смотрели на Спиридона и ждали, что он скажет. Спиридон молчал, перебирая пальцами подол малицы.

Никита встал со скамьи и надернул на голову капюшон малицы. Он собирался уходить. Зашевелились и другие хантэ. Встал и Спиридон. Неожиданно для нас он шагнул к столу и обратился ко мне:

— Пиши, баба! — Спиридон ткнул пальцем в протокол собрания. — Пиши...

— Что? — спросила его я. — Что писать?

— Тошку можно в школу, внука моего...

— Парень белковать может, — запротестовал Илья, отец Антошки, сын Спиридона.

— Пиши Тошку в школу, — настаивал старик.

Спиридон старательно подтянул рукав малицы, высвободив руку. Этот прием я знала и, улыбаясь, подала Спиридону ручку. Он, не спеша, старательно выводил свою тамгу в виде летящей гагары.

— Вот, — сказал он и снова сел.

Спиридон сделал то, чего не могли сделать мы.

С собрания расходились поздно. Я крепко прижимала к сердцу внутренний карман пальто с протоколом, на котором стояло девять тамг и имена девяти первых будущих школьников.

В октябре здесь станут болота. Еще нет снега и нет дорог в тайге. И вот по этому бездорожью мы разошлись вверх и вниз по Казыму, по речкам и протокам собирать ребят в школу.

Мороз еще не сковал зыбуны и болота.

В Енах-юх-курт ночевали в крайней юрте. Юрта маленькая, грязная, без потолка, под плоской драночной крышей. Вместо стекол — в окнах тонкие льдины. Вдоль всей передней стены — сплошные нары, разделенные высокими заборками. Пристрой вроде сеней, а у входа в юрту чужал из поставленных жердей, обмазанных глиной.

Как только мы переступили порог, старуха и молодая женщина закрылись платками. Ребятишки с ревом полезли в углы. Женщины кричали и торопились закрыть детей оленьими постелями. Пробовали заговорить, — женщины ответили молчанием. Даже на просьбу разрешить ночевать в юрте мы не услышали ответа.

Вечером пришел хозяин. Он остановился на пороге. Шокарь встал, подошел к нему и поздоровался за руку.

— Хозяин, можно ли у тебя ночевать?

— Видно, придется, на улице спать уже холодно. Что вы за люди?

Мы назвали себя.

— Видно, правду народ говорит, что отбирать ребят будут. А баба куда идет? — Он посмотрел на меня в упор.

— В ваши юрты пришла. Завтра мыр созовем. Есть у вас член тузсовета?¹

— Тузсовета-то нет, он в Полновате.

— Здесь кого народ выбирал?

— Не знаю...

Стали пить чай. Я завела разговор об охоте, рыбной ловле.

¹ Туземный совет.

Обратила внимание на парнишку лет двенадцати. У него, видимо, трахома. Кузьма — так звали хозяина — отвечает неохотно, односложно: „не знаю“, „нет“. А с женщинами заговорить так и не удалось. Разговор о школе был очень оригинальным.

— Вот я — учительница, на Амню приехала учить ваших ребят, — говорю я Кузьме.

— У тебя есть свои ребята?

— Нет.

— Вот когда будут — учи их. Моему парню грамоты не надо...

— Почему?

— Белку промышлять и с колданом¹ рыбачить — грамота не нужна...

— Так, выходит, учить не будешь?

— Нет. Што в этом хорошего. Вон в Полновате Егорка учился, а потом мирлавку обокрал. Степан в Вонзевате научился немного, юрту бросил, в Самарово ушел, старуха его с голоду пропадает.

Кузьма торжествующе встал и сел на нары. Потом, уже лежа на шкурах, он злорадно спросил:

— Ну, скажи, русская баба, к чему я своего парня учить буду?

Щокарь и Бобин ушли дальше на рассвете. На прощанье заметили: „Нам еще вязнуть в болотах верст двести. Видите, как нас принимают“.

Я провожала их через все юрты. Селение небольшое — юрт пятнадцать на берегу маленькой речушки. Там, где в березняке и сосновом лесу затерялись эти низенькие избушки, — берег высокий, а прямо через реку топкое болото. Все лодки вытащены на берег и опрокинуты вверх дном. Речка подернулась тонким льдом.

Разыскиваю члена тузсовета. Зашла в ютру под старыми раскидистыми березами. На нарах у низенького столика, крепкий старик, с длинными волосами, пил чай. На мой вопрос он рассмеялся:

— Ты где спала? У Кузьмы? Вот он и есть начальник...

Я удивилась не столько внезапному открытию, сколько осведомленности старика. Пришли мы в сумерки, теперь рассвет — откуда могли узнать о нашем присутствии? Выходит, знают. Вернулась в юрту Кузьмы и стала его стыдить.

¹ Сетевой рыболовный мешок.

— Почему обманул?

— Я забыл...

— Как же так забыть, что ты — советская власть в юртах. Может, ты и власть забыл?

— Я не просился в начальники, народ сам выбрал...

— Видно, заслуживаешь, что тебе оказали такое высокое доверие.

— Не знаю, чем перед мыром провинился, а беспокоить-ся заставляют...

На собрание собирались долго. Рассаживались прямо на полу. Некоторые растягивались на нарах. Старательно обходили меня, оберегали и прятали мужские вещи, чтобы я не прикоснулась к ним и не испоганила...

— Ну, как, ребят учить будем? Культбазу скоро совсем построим.

Молчат.

— Раньше русский поп учил крест целовать и богу молиться. Советская власть отменила это. Школы строит.

Опять молчат.

— Советская власть о Севере заботится. Больницы строит, докторов посылает, в тайге, тундре лавки настроила...

— Это хорошо,— сказал старик Алач, у которого я спрашивала о члене тузсовета.— Это хорошо. Ружье легко достать можно, и сетей настоящих привезли бы. Совсем хорошо. Капканы сильно худые стали. Пружина не бьет.

Разговорились, но вопрос о школе отодвигался дальше и дальше. Я старалась повернуть, а старик свое гнет. Переговорили обо всем, даже о силках для ловли куропаток, а о школе разговор старательно отводился.

— Слушай, старик, у тебя есть дети? — решила я сразу повернуть дело.

— Два сына, один уже с бородой.

— А у сыновей есть ребята?

— Не знаю...

— Как же ты не знаешь?

— Ну, знаю, есть, уже белкует парень.

— Учить его надо.

— Учить? К чему? Чтобы белковать перестал? Не надо учить.

Собрание заволновалось, заговорило, но я мало понимала. Только часто повторялись имена Егорки и Степана. Поняла, что они осуждали те же пороки этих людей, которые были главным козырем в руках Кузьмы.



Зимний чум ненца на реке Томья.

— Слушай, русская баба, к чему худому нас учишь? — И старик подвинулся ближе ко мне. — Наши ребята растут под дождем и снегом, в холоде и грязи. Попадут в хорошее житье, не пойдут больше в юрту. А кто помогать в работе будет?

Вечер прошел без всякой пользы. Враждебность к школе увеличилась. Кузьма занял выжидательную позицию. Когда люди разошлись, я его упрекнула в этом.

— Если бы не был я тузриком, то сказал бы. Может, за грамоту сказал бы, а теперь не могу.

— Почему?

— Народ корить будет.

На следующий день я не собрала народ. Знала, что пользы будет мало. Но вечером он собрался без приглашения. Старик Алач сел рядом со мной.

— Нечего жить тебе у нас в юртах, иди на Амню. В каждой юрте ребята ревут. Учить их народ все равно не будет.

— Как не будет, когда бумага есть и уже десять школь-ников?

— Какая бумага?

Я ему рассказала о постановлении работавших на постройке культбазы хантэ.

— Обманываешь нас, — сердито буркнул он, поднимаясь с места. — Покажи эту бумагу.

— Обманывать мне вас нет расчета, я не поп и не шаман. Бумаги с собой нету.

— Ага, выходит, обманываешь!

— Слушай, старик, бумага здесь будет через три дня? Тогдашья ребят, если бумага будет?

— Подумаю, посмотрю, кто тамги ставил.

— Например, Спиридон из Хул-Лора...

— Спиридона мы уважаем.

Мне удалось найти нарочного. В письме к заведующему культбазой я просила за счет базы снабдить посланца хлебом и маслом. И вот через три дня, вечером, когда мы сидели в юрте Кузьмы, а Алач испытующе смотрел на меня, вошел нарочный. Все насторожились и молча смотрели на него.

Нарочный не спеша достал из малицы пакет и передал мне. Дрожащими пальцами я разорвала его и сразу увидела свой почерк.

— Глядите, бумага. Вот тамги...

Все сгрудились ко мне, но решающее мнение было все-таки за Алачем. Он взял протокол, заставил поближе к себе

поставить лампу без стекла, и начал внимательно разглядывать тамги.

Остальные жались к нему. Только Кузьма попрежнему держался в стороне.

— Вот, лешак! — Еш-пост (тамга) Спиридона! Ильки и Сантын-Аора!

Алач багровел. Я с нескрываемым злорадством следил, как меняется выражение его лица. Взгляд дикий, глаза потемнели, цвет, мускулы лица начали дергаться. Такое лицо может быть только у припадочных или...

„Шаман! — подумала я, — шаман, неужели?..“

— Бумага верная, еш-пост наших людей... Дрожащей рукой Алач передал мне бумагу. — Все-таки надо на Юиле спросить, что народ скажет...

— Так что же, — заговорила я строго, — мое слово сделано, а ваше?..

Собрание молчит. Все смотрят на Алача, а он белесыми немигающими глазами смотрит поверх моей головы, часто перебирает пальцами по малице и вяло, беззвучно шевелит губами.

— Ну, как, старик?

— Обманывать не станем, — вдруг заговорил он, — ребята отдадим, только учи здесь, в юртах. На Амню далеко...

— Как же здесь. Школы нет, а там кормить-поить ребята будем...

— Хитрее ты нас, русская баба, ну, да ладно.

Это было сказано зло. Но тогда я не обратила на это внимания.

Я уезжала из юрт на оленях Кузьмы, с протоколом юртового собрания и семью подписками. Первую подписку отобрала от Алача, которая гласила: „Я, Алач, Никитин, обязуюсь к 20 декабря (к николину дню) привести своего внука Прокопия в школу-интернат культбазы, в чем и ставлю свою тамгу“.

С отъездом моим произошла маленькая заминка. Кузьма решительно запротестовал против того, чтобы я села на его нарту.

— Нельзя!

Я знала почему, но хотела, чтобы Кузьма сам сказал причину.

— Почему нельзя? Ни тебя, ни нарт я не съем. Что хитрого, если посижу сзади тебя?

— Нельзя, у нас баба свою нарту держит.

— Боишься, чтобы не испоганила. Эх, ты, представитель советской власти! Позоришь ты советскую власть, Кузьма... Кузьма сопел, сморкался, молча устраивая свою нарту. Он был смущен.

— Так как же ты, Кузьма?

— Баба запряжет свою нарту и повезет.

...В декабре на культбазу вернулись все вербовщики. Они пришли из выргимских, мозямских, хул-лорских и других юрт. Долгие вечера проходили в воспоминаниях об этом необычайном походе.

— Переступишь порог юрты — тебя встречают враждебные взгляды и надрывный плач ребят, — рассказывали Бобин и Цокарь. — Надо сушить одежду и обувь — не дают места. Просим продать рыбы — отказывают: „нет рыбы, какая рыба!“ Слово стариков — закон для мира.

— Вот мотивы отказа отдать ребят в школу: неграмотного в суд не потащат, а если и потащат, то судят легче. Будут дети с русскими жить, забудут обычаи и родину. И все сылаются на юильский мир, — „что юильский мир скажет“. А в Юиле сказали: были неграмотными, неграмотными и умрем. Управляли раньше нами русские, пусть управляют и теперь.

Для нас стало еще более понятно, что придется очень жестоко бороться с влиянием шаманов и кулаков.

В декабре мы открыли культбазу. В школе-интернате зазвучали первые детские голоса.

* * *

Вторая зима пришла сразу, неожиданно. Лесагнулись под тяжелыми шапками снежной кухты. Запали болота, не видно стало извилин рек.

Начали второй наш учебный год. Мы когда-то думали: главное, собрать ребят, а там уж только спокойно работай.

Жизнь опять перехитрила нас. Первые же дни заставили нас крепко задуматься.

В самом деле: ребята почти не знали русского языка, а русского алфавита, учебников и книг тогда еще не было, они появились позже. У меня хранилась только одна книжка на „остяцком“ языке с подстрочным русским переводом, которую иногда показывала товарищам-педагогам. Книжку написал поп, называется она „божье слово — остяцким детям“. Содержание книги — сплошное мракобесие.

Что делать? Бобин придумал особые рисунки и таблицы, по которым можно начать обучать детей с самых близких и

знакомых слов по картинкам: юрта, школа, собака, лодка. Букву „о“ Бобин рисовал в виде кренделя. Толковали ее так: „охотник долго ходил за белкой, устал и проголодался. Он достал крендель и стал его есть“. Букву „а“ Бобин нарисовал в виде гуся, поставленного на хвост.

Метод Бобина нам помог, но ведь он примитивен. Нужны были книги и учебники на хантэйском языке. Нам надо знать местный язык и на местном языке вести преподавание.

Прожитый год — это большая яркая повесть. Ребята приучились выкли умываться, не плюют на пол, не кладут под подушки грязные портянки, стригут волосы. Организовали школьный комитет, который следит за порядком, ведет дежурства в классах, интернате и на кухне. К весне стали выпускать стенгазету.

Завхоз базы, во время линьки птицы, разорил с собакой гнездо лебедя и поймал десяток гусей. Ребята узнали и возмутились.

— Так делают только неграмотные люди, да и то не все. У кого есть ум, тот не делает.

Больше всех возмущался Антошка, внук Спиридона. Тайком что-то готовилось в наказание завхозу. Однажды утром на дверях его квартиры все увидели плакат: „Тут живет завхоз Макушин. Он нарушил гнездо лебедя. Советский закон вымоет шею тебе, Макуся“.

О браконьерстве Макушина напечатали в стенгазете и требовали наказания. Макушина уволили и дело передали в суд.

Ребята вели борьбу с расхитителями масла, хлеба, с их помощью удалось установить шаманские гнезда, приспособленные к новым условиям. Заведующего факторией Гордеева выгнали, как друга и пособника кулака Турыма.

Смотрю я на ребят, радуюсь и думаю:

„Берегись, Алач, скоро на смену тебе вырастет грозная сила!“

Кроме обучения грамоте, введены были обязательные уроки вязки сетей, столярное дело, для девочек — шитье. Весной завели школьный огород, парники. На грядках зазеленели картошка, лук, капуста, огурцы.

Все это было такой новинкой, притом такой интересной, что ребята во время перемены бежали на огород, глядели на картофельную ботву и, затаив дыхание, глазели на зелень. Они дивились результатам своих трудов.

Культбаза разрослась. Теперь здесь было уже около пятинадцати строений. Врачи колесили по тайге, а мы работали

в школе. Шокарь организовал „красную лодку“ и вел работу на промыслах.

Культбаза росла и крепла прямо-таки на глазах.

Летом катер базы развез ребят на каникулы по юртам. К осени опять собрались все. Родители особой радости не высказывали, но остались все же довольны.

Хотя от грамоты толку пока не видно, но и это хорошо, что ребята здоровы и делу обучаются,— высказал общую оценку Илья.— Вон Антошка у нас за берегового у невода ходил, сам чинил дыры. Хорошо и то, что девок рубахи шить научили...

В декабре отпраздновали годовщину открытия базы. Мы радовались и еще больше воодушевлялись. Прошло несколько дней, и неожиданно над нашей головой грянул гром. В один морозный день, как по сговору, съехались отцы и потребовали возвращения детей. Многие даже не спрашивая разрешения, забирали ребят и увозили... Первым увез сына Илья.

* * *

У озера Курум-Вой, у самой вершины Казыма — вотчина Васьки Турыма. Четырехтысячное стадо оленей пасут три работника. Летом, когда оленей донимает овод и гнус, работники Турыма раскладывают костры. Гнилье не горит, а чадит. В это время каём (пастбище) утопает в тяжелом, едком дыму. В дым лезут олени. Здесь они прячутся от комаров и мошки. Дым однако не всегда помогает. Измученные олени, хоркая и фыркая, убегают на ветер. Без сна и еды мечутся работники, а олени все-таки разбегаются по урману.

Это не беспокоит Турыма.

Тамгу Васьки Турыма знает весь Казым и далеко за озерами Нум и Пяко. А сам Турым известен на Пуре и в Низовой тундре.

— На, лешак, олень, видать, Васьки Турыма. Так и есть, его тамга — „петля аркана“. О-о, за этим гляди крепче, чем за своим...

И когда день пойдет на убыль, закостенеют болота — работники Турыма едут собирать оленей. А они целехоньки да еще и с приплодом.

— Опять ладно прозимовало стадо. По два оленя дать вам можно,— скажет Турым работникам.— Увидишь Кирилку Пырчина — пусть приходит, дам связку кренделей, а Сумику Ваське папушку табаку,— хорошо глядели за моими оленями.

Такими подачками Турым сумел купить верхнеказымскую и из рода Пяк бедноту. Слава о Турyme гремела по урманам и тундре.

У Турыма две зимних и три летних юрты. А в просторных амбарах, на высоких столбах с хитрым запором, — столько добра, что хватит на все Верхнее Прикаzymье.

Но вот пошла слава, народ заговорил, что в Самарове строят большой город, в котором будет сидеть большая власть:

— Округ Куся хантэ-манси!

Во время выборов в тузсовет — Ваську Турыма однако на „большой мыр“ не пустили, его фамилию записали в „позорный“ список. Это произошло в то время, когда культбаза достраивалась, и ребята казымцев уже жили на Амне в школе-интернате. Турым приехал к своему другу Никите Алачу. Говорили они всю ночь, запершись в юрте.

Утром у нарт Турыма ветер трепал красный флаг. Алач послал „языка“ по юртам.

Как на пожар собрался народ.

Турым встал на нарты.

— Ханды-хе! Видите, видите этот лоскут? — показывал он на флаг. — На нем написано: „бей хантэ до тех пор, пока он не упадет...“

На самом деле на знамени был написан кооперативный лозунг „Интегральная кооперация — выход туземца из темноты и из-под кулацко-шаманского засилия“.

Но прочесть его никто не умел, потому что никто не знал грамоты.

— Помните русского урядника и русского казака в Юиле? — продолжал Турым. — Они без ружья к юрте не подходили. Как приходили к вам за ребятами люди с Амни? Хотя ружья у них были заряжены дробью, но ведь они не белковать шли, а шли к мирным людям. Мы везде ездим и ходим без ружей и нас никто не трогает. Они под ружьями брали ребят...

И в этом никто не мог опровергнуть Турыма, хотя каждый знал, что не воевать приходили люди с Амни, а все-таки с ружьями.

— Зачем им ружья? Прав Турым и Алач!..

— Слушай, мыр! Ханды-хе! — кричал Турым. — Помните русских попов и сборщиков ясака? Они с бумагой спали, в бумагу глядели, с бумагой ездили и ходили. Заставляли ставить тамги. Как пришли к нам люди с Амни? Они сказали: власть велит силой учить ваших ребят, писали бумагу и требовали тамги. Так ли было, Алач? Вот видите, Алач говорит,

так было. Слушай, мыр. Пришла беда, ломают наши обычаи... Из наших ребят силой хотят сделать русских...

Долго говорил Турым. Старики слушали и повторяли:

— Ой, беда! Однако ребят надо вести в юрты.

И вот опустела школа. В больницу перестали заезжать. Фактория впервые за пять лет не имела покупателей. Заведующий базой уехал в райком докладывать о случившемся.

Я хожу по пустому интернату. Осторожно ступаю пимами, но пустота усиливает шорох, кажется, что за мной ходят десятки ног... Вот знакомые тетрадки с каракулями, простые незатейливые детские рисунки. Вспоминаю любознательного, охочего до счета Антошку. Где он теперь? Может, белкует? Думает ли он о школе?

Дни тяжелые, вязкие, как ил Амни. Последние дни — самые тягостные. Ждем заведующего — он не едет и не дает о себе знать. Училась стрелять — надоело. Встаю на лыжи и ухожу в лес. Через полчаса возвращаюсь, гонимая какой-то надеждой, что в интернате уже несколько малышей. Знаю, что обманываю себя, но все-таки бросаю лыжи у дверей и бегу в интернат.

Пусто в интернате, пусто в школе, лишь со стены глядит одним глазом однорогий олень, нарисованный Антошкой.

Сегодня уснула в три часа ночи. И, кажется, еще не заснула, как в двери послышался резкий стук. Кутаюсь в шубу, молча, не спрашивая, отбрасываю крючок. В дверях Спиридон.

— Узя (здравствуй), учительша! Боишься маленько? — спросил он, крепко встряхнув мою руку. — Совсем пришел, — улыбнулся он, — совсем пришел. В Самарове долго жил, видишь, пришел. Веди Тошку, спрошу, много ли грамоту узнал.

— Антошку?..

Я села на кровать и заплакала. Бедный старик, он еще ничего не знает. Спиридон попятился к двери. Тихонько поймал скобку и продолжал пятиться в коридор.

— Спиридон, не уходи!

— Умер, умер? Пропал парень? — со страхом спрашивал старик упавшим голосом, стоя в дверях.

— Нет, жив. Илья увез в юрту.

— Илька увез?!

— Да. Увез, не спрашивая никого.

— Илька, Илька увез?!

Спиридон вышел молча. Я обтерла слезы углом подушки. Что-то шуршало около двери. Тихонько подошла и медленно

приоткрыла дверь. Через узенькую полоску света я увидела согнутую руку лежащего у самых дверей Спиридона.

Утром, когда я собралась в столовую, вошел Спиридон. Не здороваясь, он подошел и погладил мои коротко подстриженные волосы.

— Не надо реветь, учительша. Вода на морозе стынет. Ревешь — нет от этого толку. Слезы будут — Турым зубами за горло возьмет. Я теперь на Казыме хозяин, я. Турым больше не хозяин. Садись, помаленьку слово класть будем.

„Я хозяин“ он произнес с такой гордостью, какой я еще не слыхивала. Спиридон рассказывал:

— На одном из последних заседаний березовского районного съезда советов при входе одного молодого ханта из Реп-егомкурта заволновались на скамье казымцы.

— Сех пончавтаз! — крикнул сам Спиридон, — вот беда!

— Чавольта!

Парень вздрогнул и провел рукой по гладко подстриженным волосам. В президиуме долго не могли понять беспокойства казымцев. Только председатель оргбюро окрисполкома Копылов, знающий казымское наречие, взглянул на парня и изумился. Еще сегодня утром он видел его в столовой с двумя косами, туго перевитыми грязными красными шнурками. Теперь, через несколько человек от Копылова, сидел тот же парень в малице, но уже с подстриженными под скобку волосами...

— „Сех (косы) пончавтаз (кончил), чавольта (срезал)“, — перевел несколько раз Копылов.

Во время перерыва заседания Спиридон поймал парня в темном коридоре.

— Зачем кончал косы, ребра тебе ломать будут в Казыме. Вот беда, парень. Старики ругаться будут.

— Без кос терпит, — ответил парень.

На другой же день в казымских юртах стало известно о поступке молодого ханта.

На районном съезде Спиридона избрали делегатом на окружной съезд советов в Остяко-Вогульске.

Едучи на лошадях по льду Иртыша, Спиридон еще издали узнал Самарово. Здесь народ не останавливался — все ехали мимо горы в лес. И тут так же, как и на Амне, рубят лес, строят большие дома. Все говорят о новом городе в лесу — Остяко-Вогульске, вырастающем рядом с Самаровым.

И вот Спиридон сидит в большом, светлом новом доме — Доме ханта. По стенам развешаны красные полотна с бе-



Ненецкий охотничий промысловый амбар в тайге.

лыми буквами. Высоко, под самым потолком, тоже полотно, рядом со Спиридоном сидит Копылов и читает:

— „Пайты минман ленинской национальной политика сирна вэтпыс эвыт нох хысим и нупыт нэкптэ утым овыс вэрэв социалистической овысы...“

Плохо понимает Спиридон и просит еще раз прочитать, но по-русски.

— „Неуклонно проводя ленинскую национальную политику,— читает по-русски Копылов,— Север, экономически отсталый, край векового бескультурья,— превратим в Север социалистический“.

Спиридон показывает на полотно пониже, тоже испещренное белыми значками.

— Округ кусяя — первый ханты — манси окружной съезд совета рупытты крестьянин и в урты иох депутата ковром вуся ясын.

Спиридон качает головой и отказывается понимать обское наречие хантов.

— Обский народ так говорит, этого Казым не терпит. Такой язык у нас нету.

Копылов долго ему толкует и разъясняет приветствие: „хозяину округа — первому окружному остяко-вогульскому съезду советов“.

— Ты — хозяин, это тебя приветствуют.

— Какой я хозяин? Васька Турым у нас хозяин.

— Васька — кулак, он не может здесь сидеть, хозяин — ты — беднота и середняки, — горячо доказывает ему Копылов.

И вот, новый хозяин ходит по новому строящемуся городу. Ему рассказывают, где будет Дом советов, школа, больница, кооперация, магазины, квартиры.

Город в лесу!

Спиридон посетил и Самарово. Он не узнает его пустынного конца на повороте Иртыша. Его водят по огромным цехам рыбоконсервной фабрики, показывают, как делают консервы. От шума станков у Спиридона кружится голова.

— Совсем недавно мы праздновали годовщину комбината, — рассказывают Спиридону. — В год должны дать двенадцать миллионов банок консервов. Комбинат оборудован лучшими машинами, какие знает техника.

Оттуда Спиридон вместе с другими хантами идет в завод, где из рыбных голов, кишек и других отбросов приготавливают костяную кормовую муку, мыло, рыбий жир.

Ничего не остается неосмотренным в городе. Спиридон

узнал, как делают газету, увидел, как плавно поднимается на воздух и садится на землю громадная машина с большими крыльями. По вечерам он разговаривал с большеатлымскими, чагинскими, виргимскими колхозниками. Куда ни повернется — всюду новое, незнакомое. Спиридон смущенно шепчет:

— Вот беда! Зачем жизнь кверху ногами поставили?

С невыносимой обидой ушел он со стрельбища. Его перестреляла молодая девка с реки Ваха: из возможных пятидесяти она выбила сорок восемь очков, а он — лучший стрелок Прикаzymья — выбил только тридцать шесть!

— Вот беда, баба — и та верх взяла!

В конце февраля окружная газета — „Ханты-Манси-шоп“ писала: „Заканчивая свое выступление, товарищ Спиридон, 65-летний старик, кочевник с вершины Казыма, говорит: После курсов поеду к кочующим братьям, объясню им все и поведу их к социализму“.

...Вот он, Спиридон, сидит напротив меня на табуретке, без кос, подстриженный парикмахером, то и дело поглаживая короткие волосы скрюченными пальцами. Курит трубку. На малице новая сорочка.

— Самарово большой, большой мыр был. Приехал народ с Казыма, Ваха, Конды, Сосьвы. Высоко написано: „Узя, хозяин!“, — тыкал он себя пальцем в грудь. — Я слово клал, большое слово клал. Тошка тут будет. Я помню, слово клал. Пойдем, учительша, чай пить...

На другой день мы провожали Спиридона, который отправился собирать увезенных ребят. Он взял с собой хлеб, кренделей, масло. На фактории взял ружье.

— Учительша, на твоих лыжах пойду...

Я с удовольствием передала ему свои лыжи, подбитые шкурой с оленьих ног. Он встал на лыжи и пересек глубокую канаву дороги.

— Спиридон, иди дорогой...

— Дорогой не терпит, — надо прямо ходить...

Он легко заскользил на лыжах и скрылся в густом лесу.

Через пять дней приехал на нарте Илья. Не успела нарта остановиться у крыльца школы, как на ходу с нее спрыгнул... Антошка. Он с удивлением огляделся и потом, не здороваясь со мной, кинулся в школу. Когда я вошла за ним, он стоял на парте и нежно гладил рукой свой рисунок однорогого оленя. Он попросил показать ему тетрадки, общежитие, кухню, где он много раз бывал дежурным, заставил открыть шкаф с книгами, постучал пальцами по большому столу. Все это он про-

делывал с таким удивлением, будто видел все это в первый раз.

— Где был огонь?— заговорил Антошка.

— Какой огонь, Антоша?

— Однако, ты меня обманываешь. Старики говорят: бог пустил огненную стрелу — и школа сгорела. В школе сгорели все русские и ты сгорела. Однако, все так же, как и было.

— Видишь, Антоша, старики врут...

— Видать, врут...

Илья повернул нарту, и не заходя ни к кому, уехал обратно. Антошка попросил мыло, полотенце, чистую рубаху и баню.

— Пока белковал, рубаха совсем почернела.

— Хорошо белковал?

— Убил пять десятков. Достал бы больше, да старик в школу велел ехать.

— Отец тоже посылал?

— Нет, он сердитый.

— Где Спиридон?

— Юиль-городок ушел. Скоро совсем приедет, только соберет ребят в школу.

Опять в интернате звенят детские голоса. Собралась половина ребят. У больницы и фабрики стали останавливаться нарты...

Ив. Панов.

ВСТРЕЧА В ТУНДРЕ

Максим озлобленно бил оленей по крупам. Они испуганно вздрагивали, но бежали попрежнему тяжело. Хорей не помогал. За двое суток непрерывной гонки олени устали. Они низко опустили головы, раздувая широкие ноздри и разевая рот, хватали морозный воздух.

Максим тоже устал не меньше оленей. Он выехал из колхоза бодрый, на крепких, не бывавших этой зимой в упряжке быках, и думал, что самое многое через сутки снова будет в колхозе. Но отбившихся от колхозного стада оленей он не нашел и это заставило его задержаться в тундре.

Он остановил жожака, слез с нарты и, разминая онемевшие ноги, прошелся по насту. Наст был крепкий, Максим ни разу не провалился. Опять нельзя кормить оленей. Им из-под

такого наста не достать ягель. Сердито выругался, пошел к вожаку и погладил его тяжело вздымавшиеся бока. Вожак стоял и не шевелясь.

Максим отошел от него, через рукав достал табакерку. Понюхал. Положив трубку обратно, внимательно осмотрел горизонт. Пустое море блестящего снега. Даже кустика нигде не видно. На белом, давно вымерзшем, как тундра, небе, льющем на землю холод, замерзает маленький круг солнца. Холод придавил тундру, сковал ее крепким настом и она сердито молчит. Тихо, до того тихо зимой в тундре, что слышно даже, как стучит в груди собственное сердце...

Олени легли на снег. Максим решил поесть. Достал из мешка, сшитого из оленьих шкур, несколько кренделей и кусок сырой оленины. Настрогал мясо тонкими стружками и, осторожно шевеля замерзшими губами, стал есть. Ел и думал о стаде:

„Кто сегодня пастушит за него? Наверное, кривой Алешка, комсомолец. Он молодой, неопытный парень, может растерять оленей. Такая вещь случилась с Мишкой. Поставили его пастухом, он и растерял оленей. Теперь Максим ищи их по тундре, которой нет ни конца, ни края. Алешка растеряет их снова. Максиму придется искать, не спать ночи, мерзнуть среди снегов далеко от чума. Максиму обидно. Какая работа труднее — та ему и достается. Председатель говорит, что он, Максим, опытный, а что пользы ему от этого! Пусть они тоже будут опытными. Опыт в чуме у теплого огня не приобретается. В их годы Максим по целым неделям ночевал в тундре. А они сидят в чуме. Сейчас, может, горячее мясо едят или кинокартину смотрят, а он здесь мерзнет. Обиднее всего то, что зря мерзнет. Олени как в землю провалились. Может, их давно волки задрали? Здесь их много. Максим махнет на все рукой и поедет обратно, а там скажет председателю, что оленей задрали волки...“

От съеденной пищи в желудке потяжелело, и тело стало наполняться приятной теплотой. Внутри словно печку затопили...

Олени успокоились, отдохнули. Вожак поднялся и начал разбивать копытом наст. Максим подошел к нему и помог пробить корку льда. Животные стали жадно отыскивать в снегу вкусный ягель.

Максим снова подумал: „Мерзну и оленей морю. Хорошие три быка могут пропасть. Поеду в колхоз, оленей все равно теперь не найти, не иначе, как волки...“

Однако ему было жаль пропавших оленей. Может, найдутся? Уедет домой, слов нет, там лучше, но колхоз понесет убыток. Наносить колхозу вред Максим совсем не хотел, но в то же время ему и себя было жаль.

Он колебался. Снова, может быть в сотый раз, соображал, куда могли уйти олени. Если они ушли в сторону лесов, то обязательно попали в лапы хищников. Если же ушли в другую сторону, то и теперь где-нибудь мирно бродят, отыскивают ягель.

Еще раз осмотрев горизонт, Максим увидел справа маленькую черную точку. Он острым взглядом долго и пристально следил за ней. Определил, что кто-то едет в его сторону. Решил дожидаться и посоветоваться относительно оленей.

„Если что, поеду с ним домой“, — подумал он. И от этого сразу как-то успокоился, словно убедился в том, что олени действительно погибли и разыскивать их не стоит.

Упряжка приближалась. Максим заметил сухие ветви обломанных рогов на головах оленей. Это были матерые быки. Они шли легкой быстрой рысью, выбрасывая из ноздрей белые клубы пара. Человек на нарте сидел спокойно и даже не шевелил хореом. Когда Максим подъехал ближе, то заметил, что одет он очень тепло: белый выростковый гусь, малица, высокие дорожные пимы с чижками. В такой одежде даже в тундре нельзя замерзнуть. Максим посмотрел на свой потерянный гусь и сразу почувствовал, что к телу его подбирается холод. Надо ехать. Надо шевелиться.

Человек поравнялся и круто заворотил оленей. Их нарты очутились рядом. Максим по обмерзшей бороде узнал Хатанзея. По всей тундре только у него одного была борода. Эту моду он перенял у русских купцов, когда торговал с ними пушниной. Он всем хотел походить на купца, и даже бабу в чум к себе взял русскую и с самоваром. Хотя купцов теперь давно нет, но привычка носить бороду у Хатанзея осталась. Максим узнал его и пожалел, что дожидался.

Хатанзей слез с нарты и, улыбаясь, весело поздоровался. Максим сдержанно ответил. Хатанзей, сдирая сосульки с бороды, подошел к нему.

— Ты что, Максим, сердисься? — Какое-нибудь несчастье?

— Нет, ничего, — исподлобья поглядывая на него, ответил Максим.

Хатанзей достал из мешка пачку листового табаку и предложил Максиму.

— Закуривай, хороший, лучше, чем в кооперации...

Максим закурил, затянулся и рассмеялся про себя: взятый Максимом в кооперации табак был такой же — не лучше, ни хуже. Сели на максимову нарту и молча курили. Максим сравнивал своих быков с хатанзеевыми. В его голове невольничко мелькнула мысль: „Переменить бы, можно долго ехать на кормя“.

Хатанзей, не выкурив трубки, неожиданно заговорил. Он жаловался на погоду. Прошлые года в это время было значительно теплее. Портится тундра. Скоро все оленеводы на ней замерзнут. Говорил он тихо, безразлично, изредка сплевывая в снег. Затем, круто изменив тон, спросил:

— Сколько оленей потерялось?

— Тридцать, — ответил Максим и, недовольный тем, что ответил, нахмутив брови, добавил: — Тут где-нибудь бродят.

— Да, тридцать оленей — целое хозяйство, — не обратив внимания на последние слова Максима, произнес Хатанзей, — важеньки отелятся и, если сохранить приплод, то на будущий год будет полсотни, а потом, глядишь, и сотня. Можно хорошо зажить!

Максим молчал и, казалось, не слушал.

— Ты не слышал, Максим, какую штуку выкинул Ванька Тындзянов? — меняя тему разговора, спросил Хатанзей. — Он был в Сартыньинском колхозе. У них потерялись олени. Ванька отправили их искать. Он нашел и сдал какому-то единоличнику на хранение. В колхозе сказал, что волки зарезали. Ему поверили. А он теперь бросил колхоз и живет своим хозяйством. Нет над ним никаких начальников... Понимаешь?

Максим знал Ваньку. Они раньше вместе с ним пасли стада Хатанзея. Мужик он забитый и озлобленный. У него трагически погибла жена. Посекла ногу на стойбище, получилось заражение крови. Ванька привозил самого лучшего шамана, но жена все равно умерла. Он плакал и рвал на себе волосы. Потом озлобился на всех. Однажды угнал у Хатанзея половину оленьего стада — голов тысячу. Его нашли и оленей отобрали. С того времени Хатанзей стал с Ванькой ласковым, и начал задабривать его черную душу подарками. Каким-то образом они подружились. При советской власти, когда на Хатанзея стали нажимать, как на кулака, он постарался еще больше закрепить свою дружбу с Ванькой. Он его часто угощал спиртом и, когда стали организовываться колхозы оленеводов, посоветовал ему записаться в один из них.

Хатанзей еще что-то говорил, но Максим не слушал. Ему вспоминались дни, прожитые у Хатанзея в пастухах. Много

дней. Не сосчитать. Хозяин на тройке белых, как лебеди, важенок приезжал иногда к пастухам и угощал их спиртом. Уезжая, всегда наказывал: „Если потеряется хоть один олень, то в русский суд подам и вас посадят в тюрьму“. Пастухи очень боялись страшного слова „тюрьма“, — и олени у Хатанзея никогда не терялись.

— Ты замерз, наверное, — услышал Максим, — поедем ко мне в чум, погреемся. Немного спирту есть... Тут недалеко...

Максим представил, как он выпьет чашку спирта и пожилам его потечет жгучий огонь. Хорошо! Глаза его замаслились от удовольствия, но он отрицательно мотнул головой.

— Нет, не замерз. — Сам почувствовал, что действительно замерз и чуть-чуть дрожит от озноба.

— Хатанзей огорченно крикнул и отвернулся.

— Ты сердишься на меня, Максим?

— Нет, зачем сердиться?

— Верно, Максим, я худой тогда был. Это русские меня научили. Они все худые люди. Теперь я это понял и стал другим. Я люблю свой народ. Мы все должны любить друг друга и помогать друг другу. От русских помощь принимать не надо. Они, как лисицы, хитры и злы. Потом за помощь втридорога сдерут...

Хатанзей поднялся с нарты и, насупив брови, прошелся по насту. Максим недружелюбно наблюдал за ним. Тело его мерзло все больше и больше. Он встал и прошел к своим оленям. Олени тоже замерзли и жались друг к другу, стараясь согреться.

Хатанзей заметил, что Максим намеревается ехать и быстро подошел к нему. Понизив голос (словно его кто мог подслушать в тундре), сказал:

— За твою прошлую работу у меня дам двадцать оленей...

Максим удивленно вскинул на него глаза. Подумав, ответил:

— Гони в колхоз.

— В колхоз? Нет! Если будешь жить единоличником...

Хатанзей отступил и уже громко добавил:

— Мои двадцать да эти тридцать, — будет полсотни. Я тебе бабу найду, русскую. Хорошо заживешь, Максим!

Максим улыбнулся. Хатанзей его улыбку принял за радость и тоже, улыбаясь, подскочил к нему.

— Поедем ко мне!

Максим хитро посмотрел на него и, сдерживая себя, спокойно ответил:

— Мне и в колхозе очень хорошо.

Потом дернулся к Хатанзею и яростно закричал:

— Убирайся, собака! Помнишь, как бил меня хореем за то, что у важенки замерз теленок? Забыл? А я помню! Я не забуду. Я на своей спине испытал, как любишь ты свой наш род! Я тебе не Ванька! Сейчас поеду в тузсовет! Выгоню тебя из тундры, как волка! Тундра наша!..

Хатанзей в страхе пятился от большой сильной фигуры Максима. А тот все наступал, бросая ему в бороду злобные слова. Это был момент, когда Максим расплачивался за все и за прошлые свои унижения, и за то, что он не может найти потерянных оленей.

— Советская власть прижала тебе хвост, так ты добрый стал! У-у, шайтан!

Хатанзей смотрел на перекошенное ненавистью лицо Максима и старался добраться до своей нарты. Но Максим все загораживал ему путь. Хатанзей уже в отчаянии стал терять надежду добраться до своих быков, когда Максим внезапно повернулся, упал на свою нарту и ударил жоака.

Он заметил, что солнце стремительно падало в тундру. Это надвигалась ночь. До ночи Максиму надо было много проехать. И снова его окружили ветер и необъятные снежные равнины. Обычно езда в тундре успокаивала Максима. Но на этот раз он не мог успокоиться.

— Наша тундра, наша, — твердил он. — Выгоним всех, кто мешает работать...

Твердил он это бесконечно долго, и, подогревая свою ярость, оглядывался назад, где маячил у своих оленей и грозил ему кулаком Хатанзей.

На потемневшем небе, как глаза оленя, загорались первые звезды.

А. Кадесников

ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА

Вчера хант Алексей ездил сдавать пушнину и побывал на районной электростанции. А сегодня к нему в юрту пришел человек с кожаной сумкой за плечами. Он поздоровался и улыбнулся. Алексей заметил, что зубы у него белые, как сырковая чешуя. Человек положил на нары сумку и снял малицу. Под малицей оказалась засаленная куртка. Он закурил с Алексеем и только тогда разговорился.

— Я пришел провести вам электричество. От шефов я...
монтер Ефим Иванов...

Алексей не удивился. Удивляться нехорошо. Хотя он совсем не понял слова „шефов“, но если оно вышло с электростанции — значит, хорошее. А об электричестве Алексей давно думал. Он рад, если у него в юрте будет гореть огонь Ленина. Но Ефиму об этом Алексей не сказал. Он только кивнул головой.

Ефим, однако, его понял. Он стал объяснять, что значит электричество. Алексей внимательно слушал.

Весть о том, что в юрту к Алексею проводится огонь Ленина, быстро облетела все ближние жилища охотников-хантов. Скоро алексеева юрта стала наполняться людьми. Сначала пришли мужчины, потом женщины с детьми. Ефим, чтобы все его слышали, повысил голос. Говорил он просто, и все его понимали.

В юрту вошли еще двое рабочих. Один сообщил, что проводка сделана. Ефим окончил беседу, и они все трое принялись за работу: один сверлил стену, другой привертывал штепсель, третий — разматывал шнур.

Ханты расселись на нарах и курили добротный алексеев табак. Они ждали, когда загорится огонь.

Работу монтеры окончили быстро. Ефим, собирая инструменты, улыбался, открывая свои ослепительные зубы.

— Вот и готово, Алексей Иванович!

Алексей поднялся с нар и подошел к нему. Ефим показал, как надо действовать выключателем, и сообщил, что огонь загорится вечером. Затем все они оделись, попрощались и вышли из юрты. На пороге Ефим пообещал:

— На-днях заеду проверить.

За рабочими вышел старый седой ворожей Айну. Он остановил Ефима и, потирая дряблую желтую кожу на подбородке, спросил по-русски:

— Когда загорится огонь?

— Вечером, в семь часов.

Айну больше ничего не спросил. Он знал, что когда солнце утонет в лесу и большой Торум спустит на землю невод умерек, тогда наступит и семь часов. Айну может только на минуту ошибется. Что-то бормоча, он обошел юрту, внимательно осмотрел прицепку и вернулся к двери. Постоял, подумал и снова подошел к стенке, где была сделана прицепка. Ощупал изолятор. Потом отошел, осмотрелся, взял палку осторожно размахнувшись, стукнул по глиняному стаканчику...

В юрту он вошел спокойный. Ханты столпились вокруг лампочки и внимательно рассматривали ее. Старик Прошка черным толстым ногтем постукивал по тонкому стеклу лампочки. Стекло тонко звенело. Прошка прикладывал ухо к звенящей лампочке и удовлетворенно улыбался, словно он съел кусок сырого оленьего мозга.

Айну скривил сухие бледные губы.

— Большие охотники, хорошего зверя нашли? — насмешливо спросил он.

Охотники отпрянули от лампочки и уселись на нарах.

Айну подсел к Алексею и стал рассказывать про одного ханта, который однажды так же, как Алексей, решил проверить в свою юрту светлый огонь. Огонь погорел два дня, потом сжег и юрту и хозяина со всей семьей...

— Русские, они хитрые, — закончил Айну, — им не надо, чтобы ханты охотились в этих лесах. Они сами хотят тут охотиться. Вот они и придумали огонь, чтобы ханты умирали...

Алексей молчал. По прищуренным глазам его нельзя понять, соглашается ли он с ворожеем или нет.

— Врет он все, — начал было черноглазый Ванька, комсомолец, сын Прошки, но на него цыкнул отец, и он замолчал.

Алексей закурил. Охотники потянулись к его табаку. Хороший табак в эту зиму продает кооператив. С ним хорошо ходить в урмане. Идешь, идешь, покуришь, и словно поговоришь с кем, — так отмякнет сердце.

Женщины угощают табаком детей из своих трубок. Сын Алексея, голобрюхий шестилетний мальчуган, подошел к отцу с тяжелой, окованной медными кольцами трубкой. Отец до краев набил ее табаком, зажег и вернул сыну. Тот, поддерживая трубку обеими руками, подошел к матери и ловко сплюнул около ее ног. Охотники одобрительно засмеялись.

— Хороший охотник будет! — сказал Прошка.

Алексей скромно опустил глаза, словно хвалили его самого.

Проходили часы. В юрту уже плыли сумерки. Большое красное солнце замороженным шаром висело над лесом. В тайге постреливали деревья. Наступил вечер. Скоро должен вспыхнуть светлый огонь. Все с нетерпением посматривали на лампочку. Алексей несколько раз вертел выключатель. Огонь не загорался.

Айну, полузакрыв трахомные глаза, покачивал белой лохматой головой. Он видел, что семи часов еще нет, и молчал. Потом сходил на улицу. Увидел, что между деревьями и в

уже засветились уже дрожащие огоньки. Огонь должен гореть, но он не загорится. Айну вернулся и сказал Алексею: — Зажигай керосин, охотник! Огонь Ленина не хочет гореть...

Алексей тряхнул головой и ничего не ответил.

Айну уселся на свое место, загадочно улыбаясь. К нему осторожно подошел Прошка. Поклонившись ворожею, он почтительно сказал:

— Просим старого Айну сказать нам — будет или нет гореть огонь Ленина.

Айну молча нахмурил брови. Он ждал, что скажут остальные охотники.

Они молчали.

Айну было обидно. Вместе с обидой у него поднималась злоба на этих людей. Он чувствовал, что в последнее время они относились к нему с каким-то недоверием. Они определенно уходят от него. Айну все время мучительно думал, как заставить их верить ему попрежнему, но придумать ничего не мог. Трудно сейчас удивить народ хантэ. Коммунисты приучили их не удивляться даже летающим машинам...

Он все еще ждал, что скажут остальные охотники, но они попрежнему молчали. Прошка упрашивал его. Тогда он позвал своего помощника — сына и отправил его за бубном. Тот сбегал скоро. Айну нагревал над огнем бубен и считал время. Восемь часов. Закрыв глаза, он стал раскачиваться. Бубен от удара колотушки звякнул подвесками и заныл. Ворожей спрашивал у него: загорится ли в алексеевой юрте светлый огонь. Спрашивал долго. Обещал доброму духу жирного оленя. Бубен урчал. В юрте стало совсем темно. Предметы расплывались в темноте, как в воде. В темноте поднялся Айну и торжественно сообщил:

— Бубен сказал, что пузырек будет темным. Торум не любит, когда хантэ хотят быть такими, как русские...

Не успел Айну сесть, как лампочка вспыхнула ярким светом. Ослепленные после темноты, все растерянно замерли. Айну затряслась желтая кожа на подбородке. У выключателя, испуганный, готовый расплакаться, замер алексеев сын. В то время, как взрослые внимательно слушали ворожею, он бродил по нарам, разыскивая себе дело. Нашел выключатель и вспомнил, как отец крутил белую штучку. Он повторил движение отца и сам испугался того, что произошло.

Первыми опомнились дети. Они запрыгали вокруг лампочки, как метляки!

— Светлый огонь! Ленина огонь!

Потом засмеялись мужчины.

Этот смех привел Айну в себя. Находчивость не покинула его и на этот раз. Он посуровел, шагнул к лампочке и потряхнул бубном.

— Бубен соврал мне! Он стал старый! Надо делать новый!

Он ударил бубен о пол. Подвески жалобно звякнули и замолчали.

Алексей подошел к ворожею.

— Ты, Айну, тоже стал старый...

— Он и молодой врал не меньше, чем старый! — выкрикнул Ванька-комсомолец.

Охотники засмеялись и, хитро поглядывая на Айну, стали набивать свои трубки.

А. Кадесников

НЕНЦЫ

МАНГАЗЕЯ — ГОРОД МЕХОВ И СЛЕЗ

(Из прошлого ненцев¹)

„...Там чернобурых лисиц, седых соболей больше, чем зайцев у нас на лугу...“ — рассказывали торговые люди на проезжих трактах, на базарах Великого Устюга, Перми, Вологды, Великого Новгорода.

Слухи о мехах в стране Мокасе доходили до Москвы.

Монастырский летописец записывал гусиным пером:

„За Югорской землицей, у моря студеного живут люди самоедь. Соболи черны вельми и велики. Ездят на оленях и собаках. Одежу носят оленью, соболью, песцовую. Зверя на тундре ловят, рыбу добывают, едят мясо оленье да и собачину и бобровину сыру едят“.

Промышленники, торговые люди и разного рода авантюристы жадно стремились за добычей в страну мехов: по рекам — вниз по Сухоне, вверх по Вычегде, потом на Печору, а там по речкам — пробирались за „Камень“ (Уральский хребет). На Оби были остроги — укрепленные военные городки; живущие по Оби остяки и ненцы платили ясак в государеву казну. Из Тобольского, Верхотурского и Обдорского острогов доносили воеводы, что „юрацкая самоедь“ ясаком не обложена и всегда с остяками драки имеет, но пинежане, устюжане, вымичи среди них безнаказанно и беспошлинно торгуют“.

Царь велел сибирским воеводам итти и обложить ясаком „юрацкую самоедь“ Мокасе.

Летом 1600 года в низовьях реки Оби плыла на кочах коломенках² особая экспедиция, целью которой было

¹ По ненецко-юрацкой легенде и государевым приказам.

² Большие лодки, приспособленные к плаванию по морю.

пробраться на р. Таз, где построить острог и обложить ясаком „непокорную самуюдь“. Начальником экспедиции был тобольский письменный голова князь Мирон Шаховской, помощником у него — Данила Хрипунов. Под начальством Якова Черемного плыло 100 казаков. Проводником отряда шел торговый человек, бывавший у „немирной самойди“ — Семен Новоселов. Но в Обской губе, которую называли торговые люди Мангазейским морем, у черных скал ветер подул „зело страшен“, и кочи и коломенки выбросило на берег; муку, толокно и другие продукты подмочило водой. Кое-как починили оставшиеся кочи и коломенки и вдоль берега поплыли обратно.

После многих лишений добрались до Пантуева городка, где стояли станом промышленники, и стали ждать снега и мороза.

Князь Шаховской уговорил остяков и мирную „самуюдь“ везти их на оленях к „юрацкой самойди“.

Льдом покрылись озера, выпал снег, заблестела тундра. Войско шло на лыжах. В тундре было множество зверя и птицы. Били куропаток, песцов и диких оленей.

Когда слышали кочевники о беде, полетели на быстрых оленях по чумам гонцы с переломленной стрелой за пазухой.

* * *

Сказки, легенды до сих пор живут в юрацких чумах в низовьях Енисея. Старики так рассказывают о завоевании их русским царем:

...Олень живет двадцать весен, песец — десять, утка — пять. Десять оленей, десять песцов и десять уток родились, жили и умерли. Вместе все весны сложить, — вот как давно это было!

Ненецкие чумы славно дымились на оленьей земле. Диких оленешек и песцов было много. Ненцы ели жирно, спали хорошо, худой обиды никому ни делали.

Но позавидовал ненецкому счастью Сядей¹: он с полуночной стороны напустил черную мглу.

Был месяц отлета птиц. Ветер студеного моря выжелтил тундру. Опала морошка. У берегов плавали прозрачные льдины. Утиные стаи, крикая, перегоняли медлительных лебедей. Кулички со свистом неслись над тундрой. Гуси летели высоко. Олешки чуяли зиму. Настало время аргишить². Наш род Мокасе вместе с птицами кочевал от моря в тайгу.

¹ Сядей, — по поверию ненцев, — глава злых духов.

² Кочевать.



Ненец-колхозник с Печоры.

В одно утро увидели, что гуси-тонкошейки повернули и полетели обратно к студеному морю. Ребятишки им кричали:

— Вы, глупые гуси-красноножки, куда полетели?

Испуганные гуси летели высоко и кричали:

— Го-го-го-го!

— Ла-лак-ла-лак!

Вслед за гусями с большим шумом понеслись лебеди. Они били крыльями так сильно, что в чумах погасли огни. За лебедями — журавли.

— Кур-лы, кур-лы...

Дальноглазые увидели обожженные крылья у птиц.

Ненцы испугались. Старики заспорили. Одни говорили: повернуть надо, — век за птицей кочуем: весной — к морю, осенью — в тайгу!

Другие говорили: ехать скорей надо, — у моря пурга начинается.

А олени назад не хотят воротить и вперед не идут.

Вот какая беда пришла!

В третью зарю пробежали желтые волки. Тревожно закричали олени. Пастухи бросились к стадам, но жадные волки не нюхали оленьих следов, а, пробегая, испуганно выли.

Юмгало, понимавший волчий язык, подслушал их разговор.

— Ой, синий огонь спалил половину нашей стаи.

Юмгало эту новость всем рассказал.

В чумах радовались:

— Волков меньше — оленю спокойно жить.

На вечерней заре оборвалась радость.

Чум Аркумбая был поставлен на самом берегу Хароягу (оленьей реки). Ребятишки Аркумбая — широконосый Тата и солнечный денек — Яла, привязав к рукам крылья чаек, летали за чумом.

Остроглазая Яла первая закричала:

— Медведь, медведь!

Ломая крылья, они с плачем влетели в чум.

Аркумбай схватил медвежий лук и вправил стрелу. Не успели собаки ухватить медведя за задние ноги, и охотники — спустить стрелы, как он бросился в реку.

Охотники сели на ветки¹, заарканили медведя и вытащили. У него не двигалась шерсть, глаза закрылись, лапы вытянулись, и из-под левой лопатки сочилась кровь.

¹ Ветка — легкая берестяная лодка.

Юмгало трижды ему поклонился, левую лапу поцеловал, а в правое ухо шепнул:

— Дедушка, дедушка, не сердись,— не мы тебя убили. Медведь кивал головой.

— Да, да, да.

Все ему кланялись.

Юмгало опять спросил:

— Почему, дедушка, в тебе стрелы нет, а кровью дымит сердце твое?

Медведь поднял голову, открыл глаза и горестно сказал:

— Ой, худо будет скоро всем зверям, птицам и вам— инцам. Наконечник горячей стрелы метнули мне в сердце железные люди...

Сказал это дедушка и умер.

В знак большого почета обнимали медведя охотники.

Аркумбай и Юмгало, снимая шкуру, приговаривали:

— Не сердись, дедушка. Не мы тебе больно делаем, а совы клюют.

Вынули у дедушки сердце. Оно бьется и горит огнем.

Тадибей, служитель Нума, схватил сердце.

— Не я, дедушка, твое сердце ем, а желтая волчиха.

Не успел тадибей еще слизнуть кровь, как надулся, покраснел и закричал:

— Ой, дедушка, не буду есть,— не тронь меня!

В это время что-то зубом нащупал. Сердце положил на ладонь. Пальцем достал камешек из сердца. Камешек был синий, круглый, ростом с олений глаз, весом в копыто.

Тадибей всем показал этот камешек.

— Вот синий огонь, опаливший лебедям крылья, волкам— шерсть, а дедушке— сердце. Я съем его!

Схватил с ладони этот синий круглый камешек, ростом с олений глаз, весом в копыто.

Ломались у тадибея зубы, кровянился язык, но камешек не блестел и искрился.

Когда тадибей сломал последний зуб, выплюнул камешек на оленью постель.

Сел тадибей у костра и сначала задумался, а потом сказал:

— Кудесить¹ надо.

Все согласились.

В тот же день наш род Мокасе откочевал к высоким горам.

На этих черных скалах не живет снег, ветер уносит его

¹ Молиться.

Со всех кочевок Большой земли далеко видны боги: богу-ветру—своя скала, Пеар-маа (Оленьей земле)—свой камень, Седью — черная щель, куда не заглядывает солнце. На скале, которая всех выше, всех острее, живет Неве-Хэге — мать богов; она с золотой головой, серебряным туловищем, медными ногами.

Из стад отобрали жирных, белых, с серебристым отливом важенок.

Тадибей бубен высушил, крови оленьей напился.

С жертвенными важеньками пошли в горы. К закату солнца достигли богов. Зажгли яркие костры.

Оделся тадибей в священную одежду, песни запел, заплясал и в бубен забил.

Ветер уносил его песни во все стороны.

Солнце, месяц, звезды, звери, птицы и ненцы слушали песни тадибея.

Долго пел тадибей,—никто ему не откликался.

Заарканили важенок, поставили головой на восток, по знаку тадибея душили одну за другой.

Тадибей каждый раз держал оленя за заднюю левую ногу и громко кричал:

— Нум, мы привели тебе оленей! Вот они, они — твои, уведи!

Жертвенной кровью мазали Нума и других богов, что стояли рядами у скал, одетые в лучшие меха соболей и песцов.

В оленьи пузыри налили кровь и подвязали их к деревянным шеям богов, а оленьи глаза, уши, губы вложили им в рот.

После десятого оленя высоко-высоко в небе откликнулся Нум гагарой. Тадибей уши свои до крови оттянул, но ответа не понял.

После сорокового оленя тадибей кричал долго:

— Нум, прими, и нас сохрани!

Ночью Неве-Хэге кричал пронзительной совой. Слушали ненцы голос совы, но опять не поняли.

Сердце, печень и жирные куски оленьего мяса съели. Кости, рога и шкуры с копытами сложили у подножья Неве-Хэге.

Не ответил Нум о врагах, идущих с полуночной стороны. Тадибей сказал:

— Сядей нам мешает, он прохватил горло у гагары и унес в сторону совиный крик.

На закате солнца отобрали шерсть черных собак и принесли в жертву Сядею.

Тадибей кричал:

— Злющий старик, унеси их вместо наших голов!

Снова ночью кричала сова и на заре летела гагара. Но никто не понял их голоса. Стояли чумы у Неве-Хэге, и ненцы сильно печалились.

Был тогда в роду Мокасе Найдо, хитростью не уступающий лисице, жадностью — расомахе, по силе равный медведю. Он по крепкому насту бегал без лыж быстрее оленя. Лук его был из крепкого дерева, стрела из кремлевой березы. Стрелой, опущенной орлиными перьями, он перешибал стрелы, пущенные другими охотниками. Ловил он арканом на всем скаку оленей, легко догонял на лыжах матерого волка. В роду Мокасе сильно уважали Найдо.

Крепко задумался Найдо.

Раз, выйдя из чума, раненым оленем проблеял, волком взвыл, ночной птицей прокричал. Из всех чумов собрались к нему охотники.

Сказал Найдо:

— Видно, сами боги испугались синих огненных камней, принесенных железными людьми; не теплой оленьей кровью надо мазать их губы, а бить надо, крепко бить.

Пошли на утро ненцы к богам. Только тадибей остался внизу у реки и всем говорил:

— Не троньте богов: худо всем будет, худо!

Но охотники связали богов крепко арканами и лупили хореями¹. Только пух от них летел, волосы ветер уносил.

Гагары носились над скалами и жалобно стонали.

Не успели ненцы спуститься со скалы, как ребятишки, встречая, сказали:

— Собака чужая к нам прибежала. Лапы у ней в мозолях, на боках шерсть вытерта!

Собака лежала у последнего чума, вытягивала язык и дышала неровно: видно, что длинную дорогу быстро бежала.

Юмгало подошел и спросил:

— С какой стороны к нам прибежала?

— С полуношной.

— От какого рода отбилась?

— Наш род — Таваси, был на осенней охоте за дикими оленями. В медных шапках, в железных, как рыба чешуя, одеж-

¹ Шест которым погоняют оленей.

дах пришли с полуночной стороны люди. Птицы летят от них, звери бегут к восходу солнца. Люди вдогонку пускают из железных дудок быстро скачущее пламя. Огонь обжигает куропатке крылья, а у оленя и человека от него кровью дымится сердце. Плохо нашему роду! Казаки убили оленей, оставили только ездовых. Шкуры песцов, лисиц, соболей забрали себе, лучшие одежды собрали со всех и надели на себя. Голодный волк — лютый зверь, но казаки злее волков... Детей, стариков убивают, молодых жен забирают в свои чумы, мужиков заставляют дрова собирать, огонь разжигать, важенок доить. Нас, собак, в оленьи нарты запрягли. Ночью я перегрызла ремень и убежала.

Крепко печалились в чумах.

Тогда Найдо сказал:

— Надо за зверями уходить на восток.

Поспешно собрали кочевки.

Оленьи аргиши быстро бежали к студеному морю. Все думали: „побоятся казаки итти за ними“. Но волк, чуя теплую кровь, бежит за оленьим стадом. Казаки гнались за песцовыми шкурами, за ненецким добром.

Трое суток гнали оленей без отдыха. Шатаются быки, падают важенки: в упряжке тяжело бежать, ветер с юга принес тепло. На четвертые сутки подошли к большой реке. Как увидели на синем Енисее плывущие льдины, многие заплакали.

— Теперь куда убежать? Сзади — казаки, спереди — большая вода...

Два дня провели у реки, дожидаясь холодного ветра, хватающего льдины. Но злой Сядей все посылал теплый ветер.

Найдо, выйдя из чума, раненым оленем проблеял, волком взвыл, ночной птицей прокричал. Все собрались к нему.

— Чуют олени чужие стада. Ближе казаки! Еще пять раз оленей кормить, десять раз трубки курить — и будут они хозяевами в наших чумах. Что делать нашему роду? Снять малицы и голыми замерзнуть в снегу? Разогнать быстрых оленей и с утесов броситься в Енисей, или сесть на льдины и уплыть в снежные владения белых медведей и моржей? Говорите, старики, как делать?

Все молчали и трубками дымили.

Тадибей первый заговорил о жертвах богам.

Никто не согласился, все вертели головами.

— Богов дымящейся кровью поили, оленьей шерстью обкуривали — они ничего не сказали. Потом били долго и крепко —

опять ничего не сказали... Видно, сами боги испугались пришествия шельцев с Запада.

Так ответили старики тадибею.

Юмгало — мудрый, но тихий — вот что придумал:

— Отберем лучшие шкуры песцов, соболей, заарканим жирных оленей и сами отвезем жадным казакам, пусть с нашими дарами уйдут в свою полуночную землю.

Опять все думали.

Найдо на это сказал:

— Не накормишь волчью стаю давленными оленями. Она хочет теплой крови. Эти злые люди всего нашего добра хотят. Осталось еще два раза оленей кормить, пять раз трубку курить, — и будут пришельцы оленей колоть, бить стариков, брать наших жен, оставлять сильных, нарты с нашим добром таскать. Надо стрелы костяные точить, орлиным пером оперять, на волчью стаю походом итти.

Думали долго старики, но согласились.

На лучших бегунах понеслись в разные стороны гонцы. У каждого гонца за пазухой — сломанная стрела.

Со всех родов собрались на зов Найдо кочевники. Медвежий лук у всех. Наконечники стрел — точеные из рыбьих костей, из кремневого камня, из птичьего клюва гагары и дятла. Лыжи намазаны жиром дикого оленя. Каждый охотник для удачи взял коготь песца и соболиную ноздрю.

В первую же ночь окружили казаков ненцы.

На заре, по совиному крику Найдо, натянули охотники медвежий лук и спустили стрелы.

Стрелы, оперенные лебяжьим пером, летели со свистом. Поднялись казаки на крик ненцев. Но горе ненцам! Стрелы ломались о железные одежды, о медные шапки казацкие. Только двое упали: им стрелы попали в глаза.

Закричали казаки: — У-у-у! — Как волки завывали и огонь стали метать. Гром загремел, дым застлал небо и землю. Стали падать один за другим охотники. От крови покраснел снег. Ненцы бросились бежать в разные стороны. Казаки вдогонку пускали быстро скачущее пламя. Огонь обжигал куропатку крылья, а у оленя и человека от него кровью дымилось сердце...

Плохо было роду Мокасе. Мужчин, кого захватили, все перебили. Добро брали. Одежды песцовые и соболиные срывали даже с детей.

У Юмгало была дочь Мала, с узкой прорезью глаз, с соболиными бровями, приплюснутым носом и широкими скулами.

Такой красавицы потом не рождалось на Оленьей земле. Вот детеныш малой гагары, гнилой воин-богатырь, схватил в чуме красавицу Малу.

Тут помутился ум у Юмгало. Он бросился к дочери, вырезал у нее сердце, половину съел.

Пришельцы увидели это и все закричали:

— Само — ядь, само — ядь!

Теперь еще нас так зовут. Ненцы мы, люди мы, а не самоеды!

Разорили железные люди род Мокасе и дальше пошли.

Крепконогий Найдо опередил казаков. Он скликал охотников, которые, как испуганные олени, в разные стороны разбежались. Собрал Найдо крепконогих и совет с ними держал.

Решили они сшить себе из белых песцов снежные парки¹.

В пуржистую ночь, когда олень ложится и собака зарывается в снег, — по-волчьи, на животах, с ножами подползли ненцы к казакам. После жирной оленины крепко спали казаки. Только двое успели вскочить на запряженные нарты, ускакать в свою полуночную сторону, где солнце прячется в землю.

После победы радость была на Оленьей земле. Табунились разогнанные было олени. Снова задымились ненецкие чумы. Шел в пасти² песец. Соболь в ту зиму хорошо ловился. Плодился олень. Ловилась рыба весной... Опять хорошо зажили ненецкие роды, восхваляя Найдо.

* * *

О печальном конце похода к „воинственной самоеди“ князей Мирона Шаховского и Даниила Хрипунова обские воеводы писали:

„...Зело великая беда: убила самоедь 30 человек казаков, а князь Мирон ушел раненым, а с ним 60 человек казаков, падши на оленей душой да телом, а про Данила не ведаем, ранен ли или не ранен...“

В ответ на это донесение царь велел снова итти в землю „воинственной самоеди“.

Летом 1601 года по Иртышу с песнями отплыли из Тобольска 9 кочей, 2 морские лодки и 2 дощаника.

Стрельцов и ратных людей наемных из Литвы, кроме начальных людей, было 200 человек, — все они с пищальями

¹ Парка — короткая куртка, обычно из меха молодого оленя.

² Пасть — деревянная ловушка.

скорострельными; кроме того, были 3 пищали затинные (крепостные), много пороха, свинца и ядер, запас продовольствия на два года.

Начальниками ехал князь Василий Масальский, помощником у него Савлук Пушкин.

Новый отряд шел день и ночь, — из Обской губы в Тазовскую губу, оттуда стали подниматься вверх по реке Таз. Здесь он соединился с разбитыми отрядами князей Мирона Шаховского и Даниила Хрипунова. Этот большой отряд московских воевод разбил „воинственную самуюдь“.

На реке Таз, в 200 километрах от устья, построили новый острог — Мангазею.

В царском указе писалось:

„...А теперь государь и сын его — царевич, жалуя Мангазейскую и енисейскую самуюдь, велел в их землю поставить острог и от торговых людей беречь, чтобы они жили в тишине и покое, и ясак платить в государеву казну без ослушания, и быть им под высокой государевой рукой неотступно“.

Купцам в Мангазее разрешили вольно торговать, с платежом десятинной пошлыны в государеву казну. Запретными товарами были объявлены только панцыри, шеломани, копья, сабли, топоры и ножи.

Вином торговали вначале свободно, но потом воеводы увидели выгодную сторону этого дела и в Мангазее был открыт „государев кабак“.

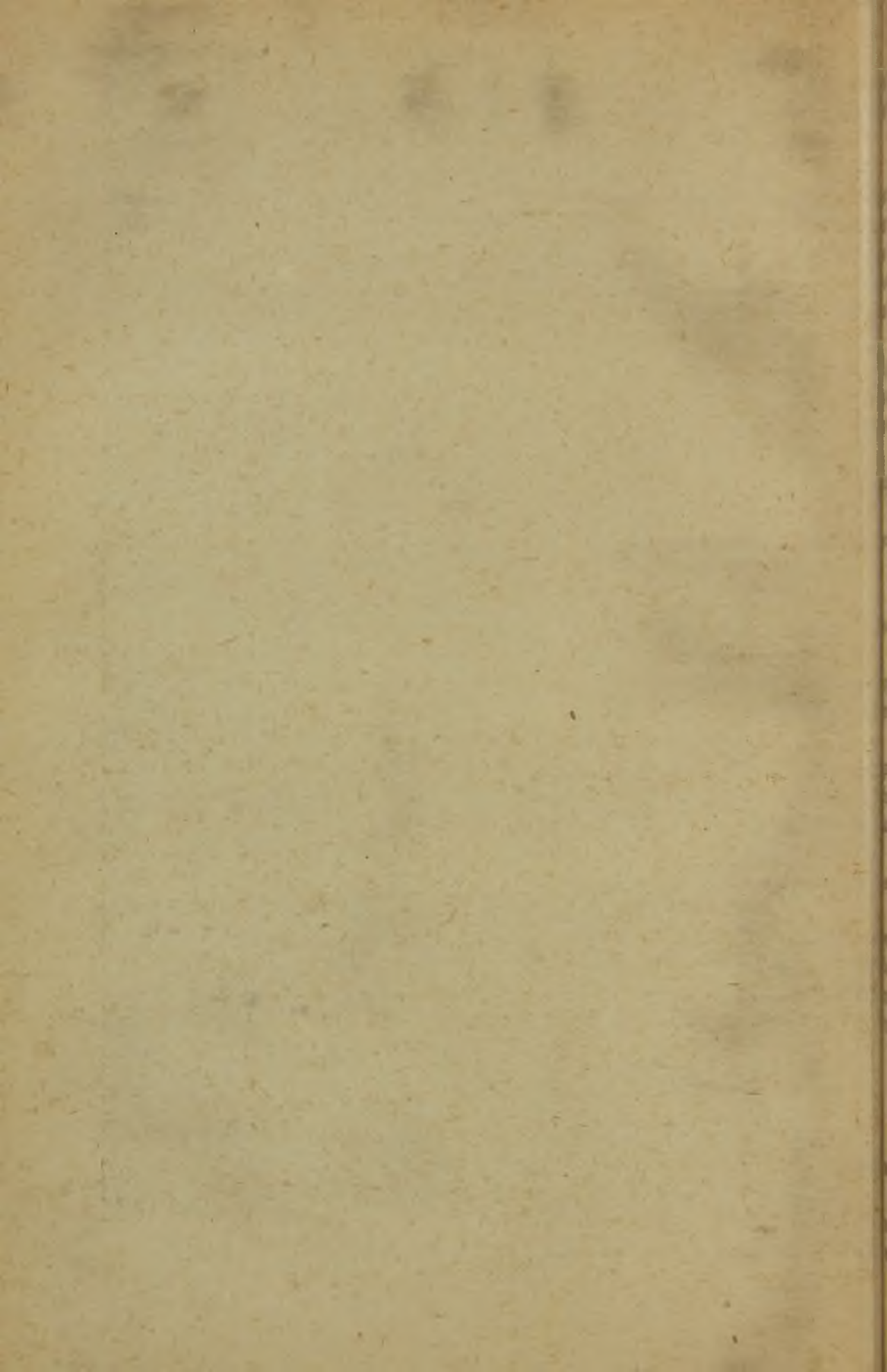
Князь Василий Михайлович Масальский, по прозванию „Рубец“ или „Окаянный“, был первым воеводой в Мангазее в 1601/2 году. Последний эпитет он получил впоследствии за свое „геройство“ во время смутного времени, когда он во имя своих авантур не стеснялся даже убийством детей. Историки его часто называют „авантюристом“ начала XVII века, умело перебегающим от Бориса Годунова к Шуйскому, потом к Лжедмитрию и, наконец, во главе бояр он просит Владислава, сына короля Польши Сигизмунда, на московский престол. Ненависть к этому человеку сказалась даже у летописца, описавшего его смерть:

„Князь Василий Масальский помроша злой, скорою смертью, яко же многим людем от того устрашитись от такие злые смерти. У иного язык вытянулся до самых грудей, у иново челюсти распадошась яко и нутренняя вся видети, а иные жива сгниша“.

Можно уже предполагать, что творил этот воевода в Мангазее с покоренной „самоядью“.



Олений поезд в тайге.



С 1631 года тобольский воевода князь Трубецкой повелел посылать „горячего вина по 15 ведер для угощения старшин остяцких и самоедских, чтобы приучить их к ясаку“.

В юрацкой сказке о царских милостях так говорится:

„...Пока останется волк в тундре, плохо жить оленю: любит волк горячую оленью кровь. Снова пришли жадные волки с железными головами. Гуси, утки летают стаями, много звезд на небе, клюквы на болоте, снежинок в тундре, но казаков больше, и они захватили все ненецкие роды, ограбили чумы, забрали оленей, шкуры песцов, соболей и лисиц.

Несли мы волкам с железными головами седых соболей. Красивых наших девок они к себе забирали, а мудрейших в роде на цепь сажали. Найдо и тех, кто вырезал первых казаков, на оленьих жилах повесили на хореях.

Жирная рыба, повешенная на ветер, становится жесткой, пригодной только для собачьей еды.

Дули ветры с океана, тундры, тайги и гор. Высох и почернел повешенный Найдо. Белый лунь, птица вещая, прокричал: — Купайте в слезах Найдо, он оживет!

Дни и ночи плакали ненецкие роды, собирая слезы в оленьи пузыри.

Узнали казаки про это. Отыскивали в чумах, отбирали оленьи пузыри со слезами и вместе с дорогими мехами отсылали своему царю.

300 лет жил детеныш большой гагары, гнилой богатырь, царь — старик. Он все рос и рос, становился жаднее и велел больше давать ему песцовых, лисьих, собольих шкур. Стали казаки еще больше требовать мехов:

— Теперь царь шибко большой вырос, большую шубу ему надо.

Так говорили они. Когда кочевал из нашей земли песец, уходил соболь в далекие хребты, не могли уплатить долгов, — били казаки тяжелой плетью. Часто и горько плакали в чумах, собирая слезы в оленьи пузыри для жадного детеныша большой гагары, гнилого богатыря — старика“.

* * *

Рос в далекой лесотундре город мехов и слез — Манга-вья.

В центре города был построен гостиный двор с большим количеством лавок, две церкви во имя святой троицы и успения, где поп Яков справлял богослужения.

Деревянной стеной обнесли город. На углах высились сторожевые башни — Зубовская, Урловская, Ратиновская и Давыдовская.

„Денно и ночью“ стояли стрельцы на башнях с заряженными пищальями.

„Самоядь“ несла ясак.

В 1629 году в Мангазее было собрано одних соболей 4500 штук.

Для исправного поступления ясака от каждого „самоядского“ рода были взяты „аманаты“ — заложники. Закованные в кандалы, сидели они в Мангазее.

Когда исправно несли ясак, аманатов кормили олениной и хлебом, а в случае задержки кормили падалью и собачьим кормом „юколой“¹. Приходили в Мангазею олени аргиши, привозили меха чернобурых лисиц, соболей и бобров.

Боясь казаков, кочевники запикивали меха в особое окно, прорубленное в городской стене.

Истощенных заложников часто на шкурах относили к нартам.

Сменялись аманаты. Охотники-оленеводы — заложники, приехавшие к кочевке, к ветру, движению, сидя в тесных избушках, горько плакали, вспоминая олешков, тундру и чум.

Иногда „самоядь“ разбегалась по далеким тундрам, в моменты воинственных вспышек била служилых людей. Тогда начиналась расправа: „уши обрезали“, „головы отсекали“, „четвертовали руки и ноги“, „на колья втыкали“, „вешали за ноги на деревья“.

Под хищническим напором воевод быстро истреблялись пушные богатства мангазейских земель.

Воеводы били челом государю, что „соболи, бобры опромышлялись“, что „теперь собирается пошлина только с юколы, с собачьего костья, с рыбы и зайцев, и то небольшая“.

Торговые люди, во избежание платежа десятинной государственной пошлины, начали ходить по Карскому морю прямо в Енисейскую губу, где и торговали.

Город Мангазея числился „городом не пашенным“. Хлеб, толокно и разные крупы доставлялись речно-морским путем.

Когда в 1641/42 году кочи были побиты бурей в Обской губе у Черных скал, жители Мангазеи питались юколой, собачьим костью.

В 1643 году город выгорел до основания. О пожаре Мангазеи есть разные исторические сведения. По одним дан-

¹ „Юкола“ — вяленая рыба.

ным, пожар начался от неосторожного обращения с огнем, а по другим — и также по юрацким легендам — дело обстояло так:

Казаки, усмиряя распрю между двумя юрацкими родами, убили больше сотни человек и захватили несколько юрацких князей.

Снова поехали на быстрейших оленях гонцы с надломленными стрелами за пазухой. Это был знак к восстанию. Летней ночью подкрались к городу отряды „самояди“ и подожгли Мангазею. Во время пожара были перебиты все мангазейцы. Кочевники взяли только „огненную воду“, к которой их уже приучили русские, но других вещей не тронули, считая великим грехом брать у мертвых.

...Но отряды казачьи шли дальше в „вольные земли“, пробирались вверх по Енисею, Ангаре, по Вилюю на Лену. Город Мангазея, по ряду причин, вернее, по экономическим причинам, был перенесен дальше на восток — к устью реки Турухан при впадении ее в р. Енисей, и был назван Туруханском.

В новый город, который еще чаще называли Новой Мангазеей, снова ехали аргиши — кочевники, везя меха соболей, чернобурых лисиц и аманатов — мудрейших из рода.

„... Плакали мы горькой слезой, проклиная волков с железными головами до самой новой жизни“.

Так кончается ненецко-юрацкая сказка.

Ник. Северин.

ВАУЛИ ПИЕТТОМИН

(Из прошлого ненцев¹)

Весть!..

Она пришла неожиданно и быстро полонила всю Ямальскую тундру от Енисея до Уральского камня. Ни ветры, ни бури многодневные, заносные и колючие, ни долгая темень

¹ В первом году царствования Николая первого (в 1825 году), когда еще не заглохли в Санкт-Петербурге волнения, испуганные толки и пересуды о декабрьском восстании, вспыхнуло на Северном Ямале вооруженное восстание среди угнетенных ясаком (оброком) и бесправием народов Севера. Восстанием руководил Ваули Пиеттомин, ненец низовской тундры реки Таза. Ваули восстал не только против царизма и его агентов в Бдорске, но и против экономической кабалы местного кулачества, верхушки оленевой знати.

Первый мятеж Ваули поднял в 1825 году. С помощью и поддержкой низовской тундровой бедноты, он разорял кулаков, отбирал у них стада

полярной ночи; ни бездорожье безмолвного океана снега; ни святые курганы предков и великих тадибеев-шаманов Конца Земли не смогли удержать ее у себя и упрятать. Они не в силах были схоронить ее под снегом, не сумели заблудить в лабиринтах бесследных, непроторенных речушек, взгорий и в урочищах лесотундры...

Весть неслась по тундре как многобалльный ветер, как быстроногий дикий олень, как пуля. Она проносилась по бестропью, боролась с ураганами снега — смеющимися и рыдающими, распутывала хитрые следы нарт и неизбежно пробиралась к чумам ненцев-кочевников. Она врывалась в жалкие бедные чумы громкая, крикливая и торжествующая, если ее принимали как свою, как долгожданную, и просачивалась в щели жилищ тихо, медленно, но упрямо, если ее встречали настороженно, боязливо, с содроганием, а иногда и с проклятиями...

Дряхлые от времени шаманы — глашатаи великого Нума, хитрые и желчные старейшины родов — правители и законники — пытались украсть ее у снегов. Они прятали ее у себя в просторных, теплых, обильных женами и песцами, чумах, глушили и перевирали. Но весть неслась все дальше и дальше, властвуя, ликуя и побеждая своею правдой косноязычность и ложь богатых князей... Она неслась на легких ездовых нартах за четверкой стремительных, подобных порыву ветра, оленей, искала дорог на лыжах и из уст в уста, из чума в чум, из стойбища в родовые станы плескалась над снегами.

Весть!..

олений и полностью раздавал в бедняцкие чумы. Спустя четырнадцать лет (в 1839 г.) он был предан богатыми соплеменниками, пойман и сослан в самую отдаленную, глухую часть Сургутского посада.

Через два месяца со своим единомышленником, лучшим другом и помощником Майри Ходакам — Пиеттомин сбежал из Сургутской тайги снова в просторы снегов р. Таз.

В январе 1841 года (14 января) он собрал около себя 400 чумов ненцев и хантэйской бедноты и двинулся походом на Обдору. Как заявил Ваули на допросах, он рассчитывал обложить городец, взять его, разрушить церковь, отобрать все у русских, уничтожить „царских слуг“, а остальных отпустить в Россию.

Подкупленный предательской дружбой купца Нечаевского, он был снова схвачен и после этого совершенно исчез. Старики до сих пор поют о нем — народном национальном герое — волнующие песни-сказки, по которым Ваули был убит вместе с братом в 9 километрах от Обдору (и теперь этот мыс зовется мыс Ваули). По другой версии и по косноязычным „доносам“ дьяков, хранящимся в Тобольском государственном архиве, „бунтовщик“ был сослан куда-то в Восточную Сибирь, но о его судьбе и каторжных работах нет никаких данных. (Автор).

В истерзанном ветрами жилище Нырмы Тырово властвовал холод. Сам хозяин чума лежал умирающий на ветхих шкурах ногами к огню. Всю жизнь, долгую жизненную тропу Нырма пас чужих оленей (коль не было никогда своих) и не видел счастья. Горе постоянно сопровождало его... Тырово умирал.

Вокруг костра сидели его пять сыновей. В бабьем углу безмолвно ютилась жена, выплакавшая до конца все свои слезы. Умирающий говорил:

— Вы слышали, мужчины, голос снегов? Весть пришла ли к вашему огню?

Сыновья молча кивнули головами.

— Мои дети, говорю вам — идите на зов! Идите на Таз, уходите дальше от царских людей, купцов и миссионеров с их лжидами и такими же мертвыми, как и наши, богами! Ступайте к нему, сыновья. Он — истина. Он — правда. Бегите к нему от несчастий, от горя и нищеты. — Нырма закашлялся...

Старик был слаб и немощен. Удивительным казалось, что он еще живет. Только глаза у него иногда вспыхивали внутренним стремлением и упорством — жить! Он знал, что умирает, и старому Тырово было тяжело. Тяжело было умирать именно теперь, когда в тундру пришла эта весть о герое, освобождающем его народ. Пришла правда, которую он так безуспешно выслеживал всю свою жизнь.

— Скоро Нум позовет меня к себе и я уйду. Князя белых оленей — лютого Ваську Сэротэтто, который избил меня и отнял жизнь за пять потерянных в пургу важенков, я отдаю вам, сыновья. Он — несчастье нашего рода... Идите, мужчины, по дороге того ненца с Таза... Идите...

Боги позвали старика.

Десять упряжек лежали уже у чума беднейшего в роду Пыеда, но новые все еще продолжали прибывать. Оковой Пыеда встречал гостей с мороза и тряски. Пламя костра высоко лизало дымную темноту чума. Два десятка ненцев в разных позах и положениях разместились у тепла. Трубка мира, мудрости и единомыслия беспрерывно обходила кричащие рты...

— Сказывали ненцы — он сзывает к себе всех бедных и дает им оленей богатых... — перекрикивая других, сообщал

Порунгуй Хэвко, батрак князя Мессовской тундры Мочидомо Хороля.

— Он разоряет богатых и ничего не несет к себе в чум — все отдает бедным, — добавляет Тер Хэлло.

— Говорит: платить ясак царям, попам и князьям не надо...

— Товаров, сахару, жиру, калача и медных вещей будут давать много-много за шкуру зверя...

— С каждого охотника, умеющего стрелять из лука, будут брать не двух, а одного белого пса...

— Работник у богатого будет у него в чуме жить, есть много будет, за работу оленей получать будет...

...Говорили все.

Трубка мира и мудрости много раз заново наполнялась и обходила крикливые рты вновь и вновь. Выкрики, говор, возбужденные восклицания слились в один, дышащий надеждами и гневом крик. И над всем этим носилось гневное, но простое, ласковое и суровое, близкое, но и далекое имя:

— Ваули...

— Вавля...

— Пиеттомин...

Крики, вместе с дымом, вырывались в дымоход чума и хороводились вокруг в морозном застое. Потом вдруг налетал ветер и уносил в снега, в незнакомые просторы — не обхоженные, не объезженные — ликующую весть и простое имя:

— Таз... Фю-у!.. Мятеж... Вавля... Народ... Ясак... У-ух!.. Собирайтесь... Правда... Ваули!

Шла весть могучими порывами, и она была желанной. А имя — Ваули Пиеттомин — суровые дети снежных, промороженных тундр произносили с такой же любовью, как некогда произносил имена Степана Разина и Емельяна Пугачева русский крестьянин.

* * *

И до всесильного, главного тадибея заснеженного Ямала — хитрого, хромого Вывки — дошла весть страшная и тревожная. Старый Вывка еще пять лун назад разослал по тундрам двадцать зарубок о дне большого сбора князей, почетных шаманов и старейшин родов, чьи олени отрубы мощнее туч на хмуром небе. Сегодня, в день сбора, одна за другой мчались олени упряжки с богатыми, сильными в тундре ездоками.

Когда все собрались и молча расселись на снег вокруг святого кургана, не смея войти к великому шаману и помешать

его разговору с божествами, Вывка вышел и, ковыляя, быстро направился к кургану. Святое, привычное для Вывки место, встречало его уже обильной данью приезжих: золотом, мануфактурой, серебром, шкурами песцов и лисиц и черепами оленей.

Вывка вошел на курган, напялил на сутулую спину и детские плечи одежду из тряпья и лент и начал свой бессмысленный, неистовый ритуальный танец... Все молчали, боясь гнева могучего тадибея. Только слышалось ритмичное постукивание руки в пензер (бубен) и смех игривых бубенцов и медных побрякушек. Да луна бесстрастно глядела на танец Вывки, прямо из-за кургана. Шаман танцевал, нелепо извиваясь и бормоча. Ударами кулака он все чаще и чаще пробуждал неподвижную жизнь звуков бубна. И было непонятно, во что же колотит Вывка: в бубен или в луну, вырисовывающуюся за его спиной.

После мучительного часа шаман, обессилев, упал. Все молчали, затаив дыхание.

Долго лежал тадибей, пока, наконец, не пришел в себя от порывов холодного ветра, поднялся и глухим нечеловеческим голосом заговорил:

— Великое горе идет, ненцы. Ой, горе! Сами себя убивать будем! Роды разбредутся врозь! Мох исчезнет и олени умрут и разучатся узнавать своего хозяина! Кто виноват? — взвизгнул Вывка. — Все он, проклятый!

— Он, проклятый! — донеслось из-под кургана.

— Ваули — наше горе! — продолжал шаман. — Он отбирает у богатых оленей, он грозит отменить ясак (Вывка покосился на дары приезжих), он рушит законы тундры, старейшины! Он смеется над ними! Пусть будет проклят такой ненец, люди!

— Проклят такой ненец, — вторила толпа.

— Где ваши глаза, люди, — трусливые как куропатки, послушные, как чумовские лайки? Берегите свои аргыши и непой¹. Вор пришел к нам и от нас. Он убивает детей и плюет табачную жвачку на богов. Позор вам, мудрейшие ненцы!

— Позор нам! — отзывались фигуры на снегу.

— Идите к русскому начальнику, просите его защитить вас. Поймайте, убейте или отдайте проклятого ненца русским!

— Поймаем, отдадим... — виновато шептала толпа.

— Так хотят боги, берегитесь их гнева, старейшины! Я сказал. Шаман отпустил всех. В чуме за мясом и чаем он сказал прислуживающей ему старшей (по счету четвертой) жене:

¹ Аргыш и непой — сани, груженные добром, и обозы из таких саней.

— Скажи, баба, батракам, чтобы они всех оленей, слышишь, всех, кроме ездовых, увели на Конец Земли, дальше от волков...

* * *

Далеко на восток от зимовок и городцов, близлежащих к Обдорску и Березову, на границе земель Кондии и Обдории с массивами лесов царства туруханских купцов-обира, затерялась в лесных оказиях и снеговых широтах маленькая речушка Вындер-яга, что впадает в реку Таз. На ее берегах, в семье рыбака и искателя песцового счастья, родился мальчик, названный Ваули. Не особенно довольные появлением мальчика, а не девочки, которую можно было бы продать в жены, родители мало обращали внимания на ребенка. Ваули рос одиноким и диким, как зверек.

Никто в семье не знал и не подозревал, что этот мальчик в свое время станет национальным героем-освободителем и впишет в печальную и серенькую историю своего народа величественные и прекрасные страницы. Никто не думал, что о нем еще долгие века будет помнить его суровая родина, а народ будет лелеять память о нем в волнующих сказках.

Суровая борьба за жизнь, законы сильнейшего, испытанные им еще в детстве, наглый, отвратительный разбой царской своры и попов, выковали в нем мощную, непреклонную волю к счастью, к вольной, радостной жизни в снегах и большую ненависть к кабале, нищете и горю.

И настал день, когда Ваули, сын Пиеттомина, словно титан гипербореец¹ встал над угнетенной тундрой, над ее кабальными традициями и царскими законами, во весь свой могучий рост и дерзко, смело бросил в лицо царским опричникам-работителям и местным тундровым хищникам-феодалам — вызов на борьбу.

Он кликнул клич к колонизированному и обездоленному народу, и снеговые поземки, ветры и снега разнесли его зов по тайникам тундр. На голос вождя, героя и смельчака откликнулись радостным и гневным эхом бедняцкие чумы ненцев и остяков. С пищалями, луками, копьями-самоделками потекли изголодавшиеся по воле и счастью люди. Они, словно одержимые, набрасывались на оленьи табуны феодалов и разбивали их по своим косякам. Они убивали жадных до пушнины юродствующих попов-миссионеров лживого хри-

¹ Гиперборейцы — название древних жителей Севера.

стианства. Уничтожали купцов-факторщиков и разъездных торговцев-авантюристов и шли на Вындер-ягу к Ваули.

На развалинах Мангазеи вспыхнул и заметался над белесыми тундрами Малого и Большого Ямала пожар национального мятежа.

В зимние, промороженные до самого верха ночи над мятежной тундрой вспыхивали еще ослепительные, феерические сполохи.

И тогда казалось, что здесь, на маленькой, далекой речушке Вындер-яга зажгли восставшие огромный, неугасимый костер на весь Север...

* * *

Ко времени, к которому относится наш рассказ, город-крепость Обдорск, имея за собой уже более двухсот лет существования, считался старым городом, хорошо укрепленным и обстроившимся. До этого долгое время Обдорск являлся подсобной „крепосдой“ к главному опорному пункту царской колонизации на Ямале — городу Березову (Армут-Вош). Но с проникновением в глубь тундры казаков и „казенного и торгового люда“ влияние Березова, как административного центра на Ямале ослабевает. Наряду с этим, Обдорск приобретает все более и более прочные позиции и, наконец, окончательно выходит из-под влияния Березова в самостоятельный город. В Обдорске имеют местопребывание исправник, акцизный чиновник, контролер, священник и повивальная бабка. Помимо этого, здесь постоянно живут: полсотни казаков, целая свора попов-миссионеров из братства Св. Гурия, полдесятка купцов и во-всю свирепствует „остяцко-самоедская управа“.

С внешней стороны Обдорск тех времен имел весьма неказистый вид. Десятка три занесенных до труб домов зырянских и русских и кирпичная церковь. На площади перед церквушкой стояла заржавевшая от давнего неупотребления старинная пушка-пищаль и на высоком берегу реки Полуй¹ кое-где еле держатся полуразрушенные невысокие бревенчатые стены с бойницами.

В начале 1839 года Обдорск был несказанно удивлен и испуган: тобольский наместник, прослышав о ненецком мятеже, вот уже более десяти лет безнаказанно свирепствующем в

¹ Обдорск расположен не на Оби, как многие думают, а в 6 километрах от нее, на реке Полуй.

Обдории, после многих витиеватых „доносов“ дьяков и жалоб князя Василия Тайшина, страшно разгневался на обдорского исправника и сменил его с должности. Вскоре появился новый исправник, которому было строжайше предписано немедленно искоренить волнение и наказать атаманов его — Ваули и Майри Ходакам. Исправник приехал и сразу же круто взялся выполнять предписание. Но что сделает он — толстобрюхий мерзляка Скорняков — с полсотней казаков против стихийной „оравы язычников“, как он выражался.

— Где я буду его искать? — жаловался он своему приятелю, березовскому мещанину по торговым делам Николаю Нечаевскому. — Вот ты живешь здесь пять годов и говоришь не найти его в тундре. Легче, говоришь, иголку в сене найти, нежели Ваули в бездорожных снегах. А что я буду делать? Как его схватить, стервеца, прости ты меня, господи!

— Да, Владимир Александрович, его искать — легче ветер в поле схватить. Намедни остяк сказывал — у Каменного Пояса разбойничает...

— То-то и есть! — горячился Скорняков. — А давно ль у Надым-реки был? Эвон где!

— Сказывают, у Пояса настиг Вавля князя Василия Сэротетто и отдал его жизнь пятерым каким-то ненцам. Мстили они ему, что ли, не ведаю, но по древнему своему дикому обычаю сняли волосы с кожей вместе с головы, но жить оставили для позора вечного.

— Ну, косоглазый разбойник, погодь — изловлю, шкуру сдеру, смирю, — обещал исправник. — Но как взять его? Вразуми меня, Николай Николаич.

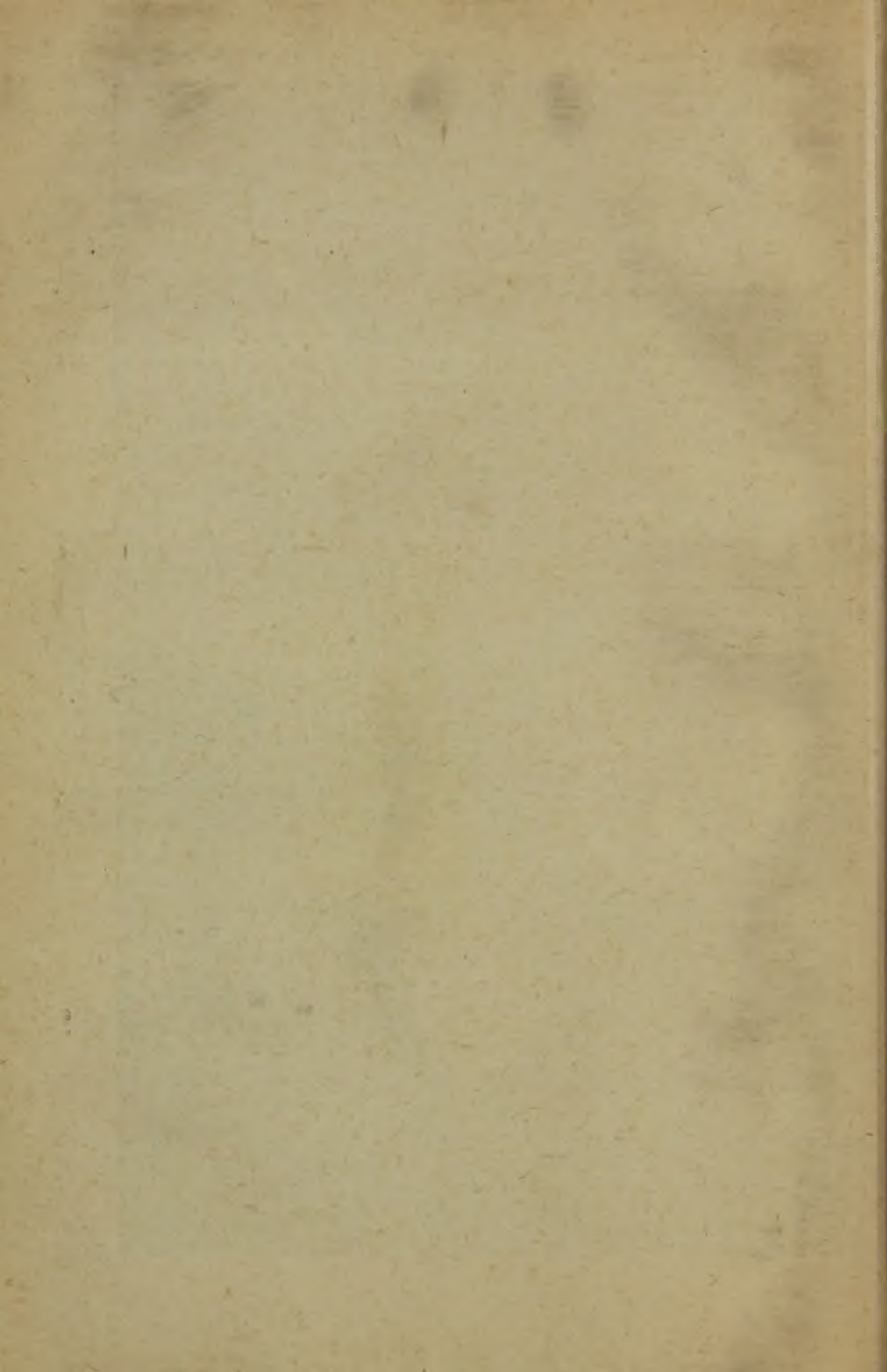
— Сила здесь, Владимир Александрыч, непричем. Сила — она дура. А ты хитростью, умом, обойди его. Падки они до водчонки — подкупи, не жалей и побрякушек — отдай! Приволокут живо. Особливо разговор говори с теми, кто побогаче...

* * *

Огнем и мечом метался мятежный Ваули Пиеттомин из конца в конец тундр Ямала со своей стрешенной от жизни вольницей ненецкой бедноты. Куда б ни приходил — везде встречала его беднота восторженно и безгранично радостно. Шарахались во все стороны от него феодалы и богатая родовая знать, хороня оленей. Но он неизбежно находил их (вся тундра помогала ему), отбирал животных и раздавал обездоленным.



Семья ненца-музыканта.



...Сколько радостных, счастливых лиц. Даже дымный чад костров кажется не таким едким. Даже скупая, холодная как кусок льда из полярных морей, луна сегодня улыбается по-особенному. Но кто это хмурится там в почетном окружении у главного костра? Кто этот высокий человек с черными, как полярная темень, волосами, с голубыми и чистыми, как детство, глазами и волевым очертанием губ? Кто он? Почему лежат перед ним нетронутыми вкусные олени кости с лакомыми мозгами?

— Ваули,— обращается к нему ненец справа,— почему не выпьешь мозг из кости? Какая росомаха пробежала по твоим слопцам, съела приманку и обмочила след? Разве это твое горе? — шутит охотник.

— Нет, Майри,— отвечает тот, которого называли Ваули,— промысел выдался хороший... Но ту ли дорогу гоняем мы¹, эту ли тропу? Великий шаман Вывка присылал гонцов с дарами, звал разговаривать с богами. Поедем, Майри?

Ходокам задумался. Думал: „Вывка хитер, как старый песец. Обманет ли?“ Тревогу затаил, сказал:

— Вывкин чум недалеко. Едем!

* * *

Командовал и распоряжался всем сам Вывка. У костра его чума решилась судьба проклятого шаманами и феодалами дерзновенного Ваули. Весь цвет знати тундры, самые мощные оленеводы, имеющие по пять-десять тысяч голов оленей, смиренно слушали приказы шамана. Здесь был и оскальпированный, напитанный доотказу злобой против Пиеттомина, князь Сэротэтто, и главный правитель тундр Тайшин, и Вантуйто, и хозяин черных оленей — Хороля и другие обиженные им, озлобленные против него. Вывка говорил:

— Он приведет ко мне упряжку оленей. Будет один-двое, я сказал, что боги не любят толпы. Дорогу в его стан вы лучше, чем в свой знаете. Идите, ненцы, и возьмите его. Но пусть он не знает обо мне. Я сказал!

Девять нарт оторвались от чума тадибея и помчались в тундру, как на загон зверя. Ехали так, чтобы нарта Вавли оказалась в середине облавы.

Законы снегов требуют, чтобы при встрече путники обяза-

¹ Своеобразный оборот речи. „Гонять дорогу“ — значит ездить по дороге; в этом случае „правильный ли путь“.

тельно остановились. Кто бы ты ни был, а остановить оленей или собак должен! Редкие встречи людей в молчаливых снегах — счастье! И если ты хорошо знаешь местность, если у тебя есть запасы патронов и пищи — остановись и спроси у встречного, все ли у него благополучно. Если он плутает по снежной пустыне — укажи звезду, на которую он должен ехать! Дай патронов, поделись пищей — так требует традиция.

Благородная и красивая традиция встреч! Она-то и погубила Ваули с другом! Она заставила их остановиться и доверчиво осведомиться о нуждах путников.

— Куда лежит твоя дорога, друг? — спросил Пиеттомина в богатой, разукрашенной лентами, отороченной песцами, малице. — Есть ли в нартах у тебя мясо, друг?

Молчаливые фигуры со всех сторон приближались к ним. Кольцо сжималось...

* * *

Исправник в бешенстве наотмашь ударил его в лицо.

— А-а, стервец, душегуб проклятый, попался! Будешь ослушничать, язычник! — приговаривал он при каждом новом ударе. Ваули молчал. Казалось, он даже не ощущал этих жестоких ударов. Моральное потрясение, боль в голове и сердце от чудовищного предательства соплеменников, за счастье которых он боролся, притупили ощущение физической боли. Он стоял, гордо закинув голову, этот исполин, перед толстым, плюгавым Скорняковым — и даже не глядел на него. Сильные, волевые губы были плотно сжаты; из уголков рта текла тоненькая струйка яркокрасной крови.

Скорняков хорохорился совсем по-петушиному, ударяя связанного Пиеттомина. Маленькая комнатешка доотказу была набита любопытными и казаками. Избитый Майри Ходакам неподвижно лежал у ног своего друга. Иногда Скорняков пытался пинать его, но всегда встречал ногу Ваули, который старался хоть как-нибудь защитить Майри.

Так всегда кончался допрос бунтовщиков.

Мало что услышал от них исправник. Бунтари презрительно отмалчивались и молча переносили даже жестокие порки. Только один раз Ваули разжал губы и тихо проговорил:

— Одним временем¹ умрешь, царский русский! Умрешь вместе с князьями...

¹ Т.е. когда-нибудь (ненецкий оборот речи).

Сургут наших дней это — нефтеносный Юган, буровые вышки, консервная фабрика, национальные хантэйские колхозы и артели, детясли, кочевые советы, клубы, радио и мощное пароходство на Оби. К этому Сургуту мы привыкли. Мы привыкли видеть сегодняшний Сургут как нечто важное и многозначущее в цепи хозяйственного освоения и культурного поднятия Уральского Севера. Этот Сургут не удивляет и не поражает нас больше.

Но в глубокой древности был и другой Сургут, о котором мы, по существу, знаем гораздо меньше, нежели о настоящем. Сургут — плацдарм бесчинств царя-колонизатора, вотчина хищных мародеров купцов, страна слез, горя и несчастий хантэ. Далекая, горестная и дикая земля!

По следам вооруженных ушкуйных казаков Ермака вторглись в Сургутские и Кондинские лесотундры строгановские посланники — купцы. За купцами и ратью потянулись алчные попы-миссионеры.

Угрозами, хитростью, запугиванием и обманом обирали грабители северные народы. Край разорялся, племена вымирали. Плеть, водка, евангелие и новые неведомые болезни стали синонимами тогдашнего Сургута.

„Мы, ясачные (оброчные, *Авт.*) остяки и вогулы, бедны, голодны и оскуднены. А ясак на нас наложен мягкой рухлядью не в силу — против денег — рубля по два и больше (взималось больше, чем следовало. *Авт.*). А емлют с нас ясака соболей по 15 и более с человека. И многие ясачные люди стары и увечны, слепы и хромы — кормятся в городе меж дворов. И многие ясачные люди в том обнищали и одолжили великие долги и жены и дети позакладывали и разбрелись в рознь. А ясак на них написан и теперь в недоимке многой народ“.

Так жаловались сургутские остяки и вогулы в челобитии „великому государю“. Но челобитни не помогали. Царь давал указ: „собирать ясак, чтоб казне нашей не было порухи, как можно прибыльнее было государю, смотря по людям и промыслам сколько можно“. Вороватые наместники и целовальники¹ понимали указ так, как он был написан, и брали помимо казенного оброка еще добавочный.

Сибирский церковник Федор в 1715 г. писал сибирскому митрополиту Антонию Становскому из Тюмени: „русские из

¹ Целовальник — сборщик ясака, целовавший крест и приносивший присягу.

Березовских мещан ездят в юрты к остякам с вином и пивом, поят их и выманивают за бесценок дорогую рухлядь. Казаки нередко берут красивых девушек и жен, будто в подводы, и дорогой бесчестят, а застрашенные остяки сами бить на них челом не смеют“.

„Русские,— продолжает Федор,— за самую дешевую цену (от 2 руб. 50 коп. медью) берут у остяков мальчиков и девочек в слуги и совершают на них крепостные акты. Казачьи ясачники, у кого взять ясак по бедности не могут, таковых бьют и мучают...“

Страшная была тогда пора...

* * *

В самой глухоманной части Сургутского посада, к северу от укрепленного городка Сургута, ближе к безлюдью, на границе с Кондией, в лесах, богатых белкой и непроезжими чащами, ютился Сургутский пост. Здесь жили миссионеры, обращавшие сургутских „язычников“ в православную веру, бойко разбойничали водкой факторщики, и десяток ленивых казаков окарауливали огороженную тыном крепосцу — острог.

В сырой, грязной и вонючей тюрьме, на нарах в несколько этажей гнили заживо — от насекомых, безделья и голода — до полусотни заключенных. Зловонный, тошнотворный и тлетворный запах от сгнившего сена, перепрелых мехов, от пота и традиционной параша у входа — стоял в помещении плотной нерушимой стеной. Заключенные больше валялись на нарах, нежели двигались. Общение между ними было невозможным, ибо камера представляла собою удивительное смешение национальностей, языков, характеров, религий и темпераментов. Здесь были и душегубы, „баловавшие“ на дорогах; беглые казаки с Дона из „бунтовавшей черни“; ижемские и печорские зыряне, убежавшие от ясака и целовальников из Большеземельской тундры, но пойманные без отхожего удостоверения на Оби и Иртыше; были ненцы, вогулы и пянхасово¹, посаженные в острог за „великие недоимки“, за грубое слово целовальнику, за упорное нежелание креститься в русскую веру, за преданность и любовь к своим молчаливым и нетребовательным богам-идолам.

Скованные цепями по рукам и ногам, лишенные свежего, бодрого ветра, обреченные на тупую неподвижность — в сы-

¹ Пянхасово — малочисленная национальность (близкая к ненцам), заселяющая водоемы р. Пур (приток р. Таз).

рости и яловонии — острожники братались с цынгой. По ночам весь острог корчился и содрогался от стонов цынготников. Ныли опухшие ноги, судорога сводила суставы; рты с синими расслабленными деснами, с шатающимися зубами, с отвратительным запахом гниения испускали жалобные стоны и вздохи. Иногда какой-нибудь доведенный до отчаяния туземец вскакивал с нар, гремя цепями волочился к дверям и буйствовал долго и тошно. Сначала он кричал и угрожал; затем, обессилев, валился на пол и тихо завывал:

— Пустите к олешкам, худые люди... Зверь бьется у меня в слопцах... Дайте пить! Маленечко сырого мяса — и Пэкась будет жить... Люди! Лю-ди...

— Вот, идол, — ругались уголовники, — душу выматывает, язычник!

Стражники-казаки орали на него в дверь. Но Пэкась продолжал стонать. Иногда казаки открывали дверь и избивали несчастного...

Всю ночь стонал жуткий острог...

* * *

Сюда привезли казаки из Обдорской остяцко-самоедской управы закованных Ваули и Майри. После оскорбительных допросов Скорнякова, после многих дней духовной и физической пытки на суде, по „милостивому заступничеству“ за язычника и идолопоклонника тобольского святого пастыря, тобольский суд присудил мятежников и бунтарей — ослушников царевых к ссылке в Сургут.

И молчаливые ненцы, зыряне и хантэ, прослышав о звании вновь прибывших, выказывали им огромную любовь, сострадание и великое уважение. С этих пор узники обрели, казалось, утраченную жажду к жизни.

Ваули, вождь, чьим именем клянутся теперь кочевники — и нет клятвы священнее этой! — человек, который один посмел открыто заступиться за свой народ, весть о подвигах, доброте и храбрости которого проникла даже и в такие заброшенные уголки, как Сургут, перекатилась через Каменный Пояс и всполошила зырян и ненцев с Печоры, Северной Двины, Мезени; — Ваули, чьим именем матери успокаивают плачущих детей, о котором, обычно скупая на славу, тундра сложила столько прекрасных легенд и сказок — этот человек пришел погибать в царский острог! За что? Разве он бунтовал для себя? Разве многочисленнее стали его олени стада, разве у

него песцовая малица, разве чум его богаче стал? Нет! Не для себя все это делал Ваули. Не для себя. Все знали это. Все знали, что ни одного оленя не взял он себе, все отдавал беднякам... За что же послал его худой царь в острог? За народ, за волю, которую он хотел для народа, за тысячи бедных ненцев, как и он сам?

Каждый, кто сидел в сургутской яме, взятый из тундры и лесов притундровых,—знал о нем. Потому и окружили его на вид маленькими, но для севера огромными заботами: кто дарил ему мамонтовую табакерку с жвачным табаком, кто отдавал хорошие, несношенные кисы, кто просто хотел сидеть около него и иногда прикоснуться к плечу как к равному...

Ничто не смогло сломить Ваули. Ни побои, ни пытки, ни приговор. Попрежнему он весь горел внутренним огнем непокорства. Правда, обдорские негодяи изрядно-таки постарались „выбить дурь“ из него. Он похудел, осунулся, и его здоровье, видимо, надломилось. Побои, тяжелые переживания и голод сделали свое дело. Кашель то и дело душил его. Постарел и Майри; на бритой голове его виднелся огромный розоватый шрам.

* * *

Кормили, как обычно, плохо — невкусно и мало: кипяток, сырой черный хлеб, мучная похлебка и изредка каша. На жителях севера эта пища сказывалась особенно плохо. Не было сырого мяса — теплого и живительного, не было мороженой рыбы — то, к чему каждый из них привык с раннего детства. К этому прибавлялась тоска по воле: по олешкам, по промыслу, по горластым ребятишкам, по собакам и даже по дыму от мирных домашних костров. Тянуло на простор, на ветер, на широкую снеговую дорогу жизни, полную неожиданностей и суровой борьбы за существование. За тяжелой дверью осталась интересная, подвижная жизнь. Здесь царила однообразная, мертвая неподвижность.

Изредка их выводили гулять во двор, на мороз. Сколько печали было в глазах у них!

— Смотри, Майри, аргыш идет,— с радостным блеском в глазах схватывал за руку друга Ваули,— смотри, шесть нарт. Во второй упряжке вожак молодой — только учат ходить,— быстро определял он.

— А знаешь, Вавля,— откликался Хадакам,— это хантэ едут рядиться на факторию: везут пушнину факторщикам. Будут пить веселую воду и увезут в чумы горе...

— Да, Майри, не ту дорогу гоняют они.

Прогулки кончались быстро. Но их вполне хватало для того, чтобы еще сильнее возненавидеть свой плен. Волновал каждый пустяк: далекая смелая белка, прыгающая по сучьям, знакомые, зовущие запахи дыма из ближних чумов — все, что на свободе почти не замечаешь.

Прошел месяц. Стало очевидным, что оба мятежника заболевают цынгой. Болезнь входила в организм неслышно, медленно разрушая ткани. Сон застигал всюду, пропал аппетит, разбухали ноги, покрываясь синими пятнами. Апатия ко всему пересиливала все остальное.

Пленники заскучали. В плотную темень ночи, когда острог глухо стонал во сне, Майри приходил на нары Пиеттомина, и они разговаривали. Тоска сводила все нити разговоров к побегу. Может, где-нибудь вдали от родины эта мысль и не возникала бы у них — незнакомая страна, другие люди, сотни верст незнакомого пути без собак и оленей остановили бы их, но здесь, когда каждый день морозная синь родного неба и безглазый шалый ветер доносили позывной свист охотника, гортанные выкрики оленевода; когда окружала родная, знакомая до конца, стихия, — эта мысль все чаще и настойчивее приходила в сознание.

„Нужно уйти, пока болезнь не свалила“ — решили пленные друзья. А потом, быть может подсознательно, они чувствовали на себе ответственность за мятеж, за народ, который им доверял, который шел за ними, куда бы они не поехали...

* * *

Помог случай.

Однажды в острог привезли нового пленника — кондинского хантэ по имени Янка из рода Муржан. Он вошел в камеру с дерзким видом и не менял его до ухода казаков. Когда же все посторонние ушли, хантэ сразу смяк, сел на нары и заплакал. Узнав, что в остроге сидит Ваули Пиеттомин, он пришел к нему ночью и рассказал историю...

— Мне имя Янка Муржан. Ходил я с родом на мхах реки Конды. Хорошо, сытно жили, олени бока шибко толстый был. Потом пришел царский человек ясак собирать: дали. Другой пришел: опять дали. Потом пришел царский шаман, богов наших из чума всех выбросил и сжег. Уехал. Мы новых бо-гов сделали, опять им губы медвежьим салом много мазали. Ничего — боги не сердились шибко. Русский шаман опять

приехал, говорит: „ваша бера¹ плохой, наша лучше; молись так, махай рукой так — хорошо будет“. Старики боялись богов, но отдали. Опять их сожгли. Русский шаман стал всех мазать маслом в лоб, дождь на нас делать. Мы масло лизали друг у друга — худой такой масло у русских. Говорит: „Теперь новый бера ушел, давай песца...“ Ночью ходил по чумам пьяный — искал богов. Находил — песца брал, нет богов — опять брал. „Я — говорит — ваш отец“. С той поры худо мы стали жить. Царский людь песца и белку берет, шаман берет, князь берет — а у меня лук один. Сколько не добываешь зверя — возьмут! Худой дорогой жизнь пошла, Вавля. Купец у меня из чума сына взял — увез. Пьяный он раз был, меня ударил, я шамана толкнул, он в костер упал и котел на голову себе опрокинул — умер. Я теперь здесь. Возьми меня к себе, Вавля. Много слов ходит по тундре из-за лесов к нам — о тебе слова. Хорошую дорогу гоняешь, друг. Возьми меня...“

* * *

Когда забирали Янку Муржан, род всполошился. Хороший был Янка охотник и оленевод — белку в глаз промышлял, чтобы шкуру не попортить, — а теперь умрет охотник. Везли его связанного из Конды свои же родичи. Утомительной дорогой они сказали пленнику, что тридцать ночей будут ждать его с нартой в лесу у дерева с большим дуплом. Уйдет если из острога, умчат его нарты тогда. Ищи снежинку в сугробе...

Момент побега выбирали долго. Со свойственной охотникам осторожностью, выжидали удобного случая, не рискуя зря. И однажды, когда казаки спали, три тени выскользнули из острога на мороз и утонули в снегах...

Родичи Муржана не обманули.

Как ветер, мчались беглецы к маленькой речушке Вындеряга, чтобы там снова зажечь костер на весь Ямал.

Мчались нарты!

Вместе с ними, рядом, позади, обгоняя оленей, неслась радостная, торжествующая и тревожная весть:

— Вавля бежал из царского острога...

— Ваули вырвался на свободу...

Сквозь бураны, мятели и ветры пробиралась эта крылатая весть.

Весть шла на лыжах, мчалась на нартах, тряслась верхом

¹. Бера — вера.

на олене и из уст в уста, из чума в чум, из стойбища в стойбище, вместе с плачущими ветрами заполонила все тайники тундр.

* * *

В эту январскую, холодную и темнозеленую ночь тундра была особенно сумрачной. Огромная, тяжелая темнота грузно легла на весь Ямал и, казалось, обхватив его, давила сверху, как давит на дно моря зеленая, не пропускающая света толща воды. На небе затихли сверкающие сполохи; отары туч, тучнеющие от снега, бродили по нему. Немота... Тихо даже среди сотни чумов, раскинутых по снегу как попало. Святой курган, возле которого расположилось стойбище, угрюмо караулит усталую тишину... Острогрудые чумы кажутся спящими. Разве только изредка тьякнет беспокойная лайка — олений сторож, почуя волка, да мерно бьют копытами слежавшийся снег проголодавшиеся олени.

Но вот из крайнего чума вышел человек и тихо пошел к кургану, глубоко проваливаясь в снег. Медленно вошел человек на курган и там отпахнул с головы жаркий треух малицы. Темнота узнала в нем Ваули. Мысли, одна другой назойливее и тревожней, охватили его.

Ваули знал, что он не одинок, что за ним следует большая, разгоряченная толпа. Он знал, что она верит ему — вождю и герою. Он знал, что в большинстве своем эта толпа идет за ним, гонимая не столько сознанием совершаемого шага, сколько слепой злобой, местью и страхом. Дух мятежной старины, дух свободолюбивого народа заставил их презирать законы и традиции тундры, разбивать по своим стадам тысячные косяки кулацких оленей и бряцать оружием перед воротами царской заставы.

О, Обдорск! Сколько ненависти, презрения и злобы вселил он в его душу! Еще тогда, в первый раз плена, когда пьяный воевода с водянисто-мутными глазами и лоснящимся угреватým носом бил его по щекам, запала лютая ненависть в его вольное сердце. Тогда он поклялся Великим Нумом еще раз притти к стенам городца, привести сюда свой угнетенный народ и покорить крепость, плюнуть в лицо царскому воеводе, разметать кулацкую кабалу и выгнать из просторов тундр водку, плеть, жадных купцов и торгашей-попов. Клятва его сбывалась теперь. Вольные сыны тундры шли за ним мстить за позор своей родины. Но готовы ли они к этому?

Ночь стала менять свой наряд. Тундра терялась во мгле...

Кто-то ткнулся ему в сжатый кулак мокрой теплотой. Ваули вздрогнул...

— Терка! Не спишь, сторож олений?

Лайка скупно взвизгнула. Приласкалась.

— Пойдем, собака. Спать надо.

И они пошли. Спускаясь с кургана, шли к молчаливому стану...

* * *

Костер чадил. Чум был полон народа, дыма и темноты.

У входа остановился человек.

— Вавли...

— Вавля...

— Ваули...

Шопот пошел вокруг костра.

Ваули Пиеттомин вошел в чум и сел к огню. За время ссылки, после первого мятежа, после издевательств в Обдорске, унижений и тягот сургутской ссылки он изменился. Худой, с впалыми щеками и сединой на висках, сутулый, он казался усталым и постаревшим. Только глаза — голубые, честные и быстрые — по-старому горели бунтующей дерзостью и прежней, не сломленной гордостью.

Он молча жевал табачную жвачку. Среди людей у костра стало сразу тихо, как после шторма.

— Вавля, — тихо сказал Майри. — Вавля, где была твоя тропа?

— За станом, Майри. Не спят минеруи¹, важенки сгоняют телят. Волки близко...

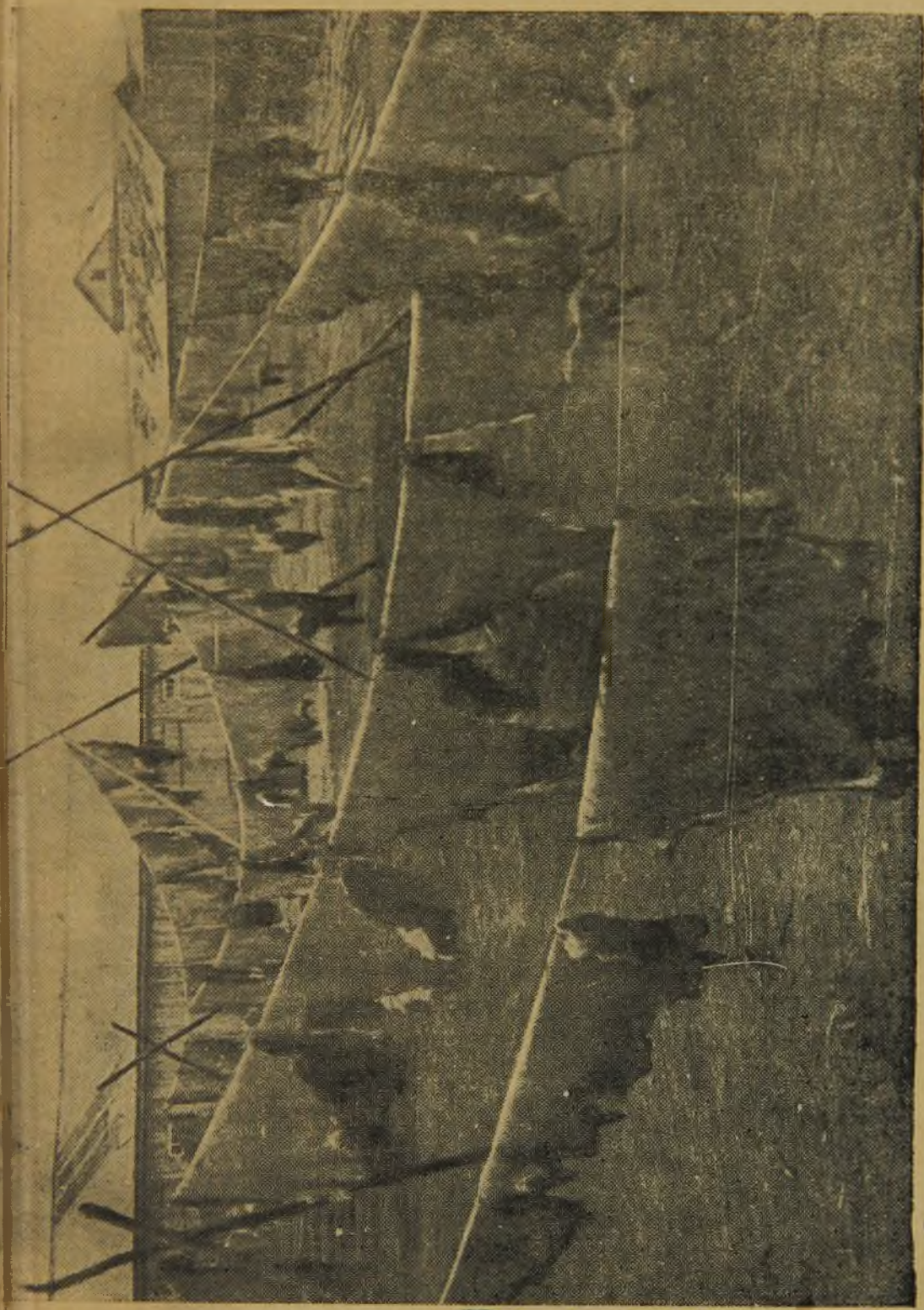
— Волки в четырех снах от стана, Пиеттомин, — хмуро вставил Янка Муржан. Собрание глухо одобрило его.

— Неньча!² — воскликнул Ваули, встал и, криво улыбаясь, выпрямился, — старики говорят люты волки. Много-много хороших олешек слабее десятка волков. Я стоял станом девять снов — ждал народ. Из рода Яптик, из ватаги Сегоев ни один неньча не пришел мстить царю. Четыреста чумов — это много мало. — Помолчал, потом, обращаясь к Майри, приказал повелительно: — После сна идем на Обдору, сготовь упряжки!

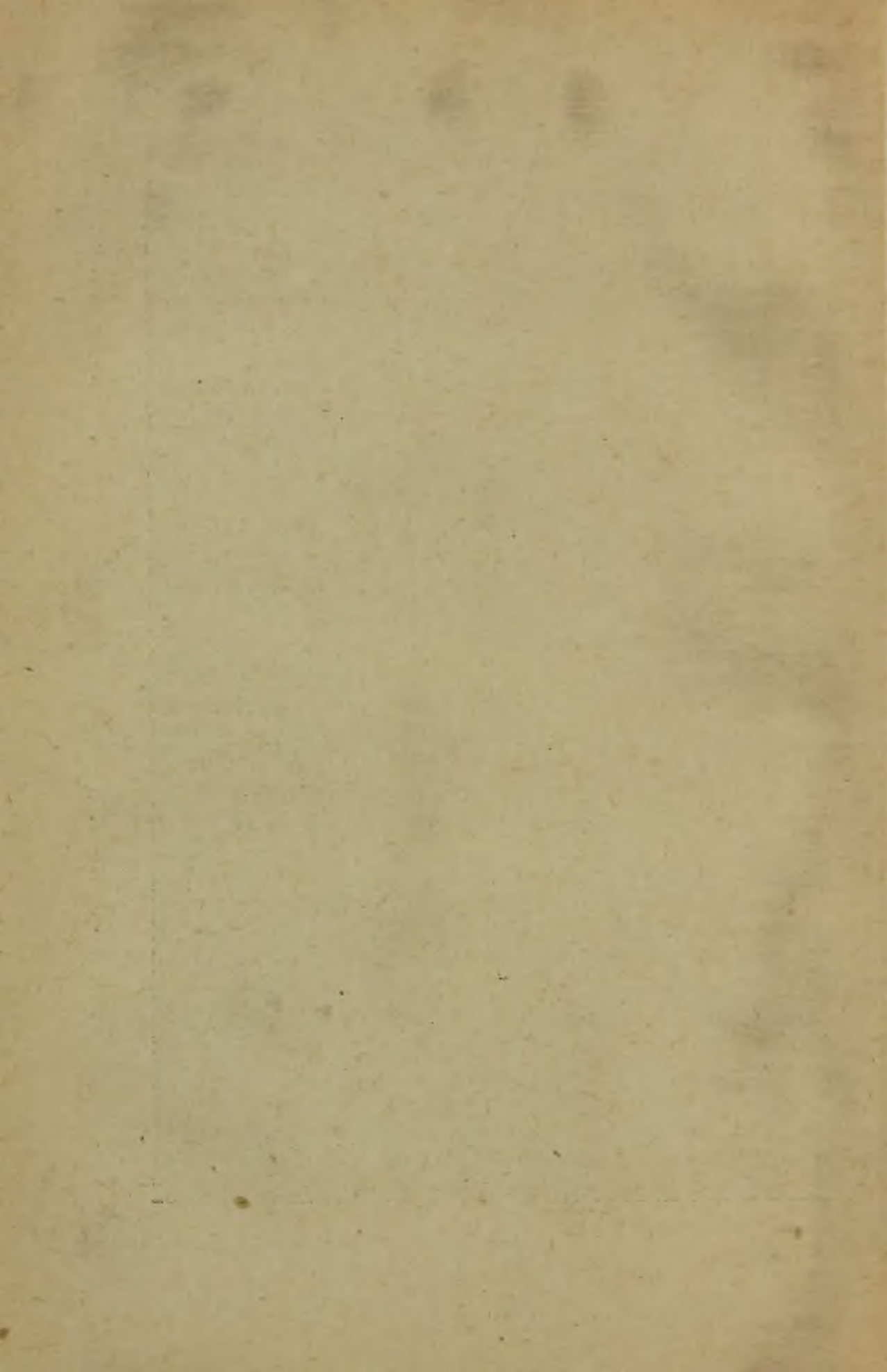
Ушел в глубину чума и лег на шкуры. Майри опустил голову и тяжело вздохнул...

¹ Минеруй — бык, вожак стада.

² Неньча — народ, люди (отсюда ненды).



Сушка оленьих шкур^т в ненецком кооперативе „Кочевник“ на Печоре.



Нечаевский сидел в стуле плотно, по-купечески. В его манере держаться и говорить явно выступала алчная хватка „крепкой“ деньги. Сейчас он, далеко отвесив толстую губу и закатывая временами маленькие свинячьи глазки, жаловался, но и здесь лгал, делал это с видимой ленью и неохотой:

— Вразуми, Скорняков. Этот бунтовщик и разбойник рушит мой рынок. Сколько посланцев моих обобрал дочиста и задушил. Товар роздал дарма косоглазой мрази. А теперь на-ко! — цареву власть окорачь хотит поставить. Тебя, исправника, — доверенного царского, опозорить хотит. Срамота!..

Скорняков — исправник Обдорской крепости, толстый и потливый, снова забежал по комнате. Ему казалось, что выхода нет. Рухнет город. Убьют ненцы или еще хуже, царь лишит его чинов и чести и загонит в гнев в сибирские трущобы, в ссылку. Не говорил, а злобно лаял:

— Эх, Николай Николаевич, жалеючи его языческую душу в тысяча восемьсот тридцать девятом году сохранил я ему — душегубу и грабителя — голову. А зря сохранил-то! На плаху, под топор бы стервеца уложить надо было!

Исправник пил квас. Жара двухстенной избы, злоба, а больше того, страх жгли в нем прохладу. Нечаевский молчал, сопел и тупо моргал заплывшими глазами. Скорняков неистовствовал:

— Трех гонцов загнал! Что еще делать? До Тобольска поди не рукой подать! Время-то, время-то какое, говорю, стервец выбрал! Была б еще весна, аль лето: войска могли бы подвести сюда. А то лютует зимища злая. Снегов да буранов больше неба видим...

В дверь вошел стражник.

— Тама князец один пришел. Плачет. Я, говорит, спирту хочу...

— Гони косоглазого идола! — А потом, подумав, сказал: — Пусти, пускай идет...

Князь Василий Тайшин вошел не дерзко швырнув дверь, как раньше, а робко, едва внося в комнату безвольное тело. Пьяные, кривые ноги его, одетые в богатые, яркие кисы еле еле переступали. Мускулы на лице ослабли; щеки были мокры от слез и жидкости из носа. Грязными немытыми руками князь тер свои трахомные без ресниц глаза и тихо подвывал:

— Моя бедный хантэ. Ваули и неньча говорят моя нельзя ходить князем. Зачем так? Царь сам давал мне тамгу, ты знаешь. Вот дал...

И князь тянул к Скорнякову в грязной руке печать князя Ямальской тундры — Обдории.

Исправник брезгливо поежился.

— Ладно, знаем о твоей тамге. Чего тычешь, дурак. Отстань! Кня-я-зь — протянул он, — прости ты меня, господи.

Васька Тайшин плакал жалко, по-пьяному. Молча наблюдающий эту сцену березовский прохвост из мещан по торговым делам — Нечаевский вдруг встал резко, почти вскочил и рванулся к нему.

— Тайшин, ты князь! Завтра едем навстречу вместе к Ваули в тундру. Я так мыслю (и в ухо Скорнякову шептал долго).

Ярилась непогодь, ночь пьянела от темноты и мороза. Спал городище Обдорск.

* * *

Третий день с востока, из глухомани Тазовской тундры, идет к Обдоре мятежная вольница Ваули Пиеттомина. Четыре сотни чумов, с оленями, женами, детишками, хозяйством движется к городу. По пути мятежники схватывают не успевших откочевать от пути богатеев, забирают у них оленей, делят между собой, растаскивают новенькие их чумы и идут.

Идут лавиной, многоликой, крикливой и тревожной, потрясая пищалами, луками, копьями. Грозна набухающая злостью и отчаянием толпа повстанцев.

Ваули и Ходакам едут впереди. У обоих красивые и стремительные запряжки. Сбруя на оленях и санки в кости и лентах.

Третий день катится лавина ненецкой мести. Еще полдня — и будет Обдорск и будет выход гневу...

И вдруг передние нарты остановились. Задние наседают... Усталые олени валятся в снег, упряжки путаются. Лайки-олегонны обкусывают ноги минеруев, останавливая дикие, бунтующие стада. Крик, ругань, гам, перебранка жен. Весь огромный обоз собирается в груды и немеет...

К передним нартам бежит народ. Ваули и Майри впились глазами в седеющую даль.

А там впереди две нарты — не едут — летят. С ветром спорит олений разбег.

Лавина затихла. Ждут...

Пять-шесть верст для хорошей упряжки — полчаса. Сытые, сильные олени бегут ровно, без рывков и галопа; вокруг упряжки взвихривается снежная пыль. Олени, подняв голову

кверху и положив на спину ветвистые рога, вихрем несутся по снежному насту.

У животных язык напрочь изо рта. Примчались, веером закруглили путь и, усталые, отдавшие все силы, ложатся в холодный снег. С передней нарты соскальзывает русский и уверенно идет к Ваули.

— Ани торово, арко юро,¹ — жаркая, заискивающая рука хватает и жмет безучастную руку — плеть Пиеттомина. — Аль не узнаешь теперь друзей? Помнишь Нечаевского Кольку по зову вашему „Большое брюхо“? Помнишь, как менялись мы с тобой подарками?

— Помню, — сухо говорит Ваули, — помню, но не знаю, с чем пришел ты к нам, факторщик!

— Хо, друг. Я купец, мне нет дела до царя и попов. Сам знаешь, я живу в тундре ой, много лет и зим. Я сын ее стал, я брат твой. Закон тундры — мой закон! Потому, когда узнал весть, что едешь ты, выехал к другу навстречу просить ко мне в дом. Помнишь, как я тогда жил у тебя на шкурах чума на реке Вындер-яган? Разве не закон тундры принять у себя усталого друга?

Ваули молчал и смотрел за спину купца. Майри беспокойно смотрел в лицо своему учителю и другу.

Нечаевский продолжал:

— Едем ко мне в Обдорск. Там прежде всего никто не знает, что ты едешь сюда, а потом кто посмеет тронуть моего друга в моем чуме?

Купец смолк, ибо шум за его спиной захлестнул речь. Пиеттомин продолжал гневно глядеть мимо плеча купца жесткими, неподвижными зрачками. Нечаевский обернулся. Там стоял Василий Тайшин — развенчанный Ваули князец земель обдорских. Он был жалок. Больные, слезливые глаза смотрели умоляюще и покорно. В протянутой к Пиеттомину трясущейся руке он держал свою княжескую родовую тамгу, дар царя — медную аляповатую печать. Эта молчаливая сцена была однако ярка и понятна: князь доказывал свое право на княжество. Ваули резко вырвал печать из рук ошеломленного пленца, скупно взглянул на нее и отдал стоящему вблизи Янке Муржан.

— Ты теперь князь. Возьми...

Тайшин обезумел. Как! У него отняли царские полномочия на княжество! Что ж он теперь будет делать? Как будет он

¹ В переводе: „Здравствуй, большой друг“.

собирать обильный ясак с оброчных хантэ и ненцев! Нет печати — исчезнет доход, упадет почет и русский стражник не даст больше спирта!

Пена выступила у Васьки на губах.

— Пошто, Ваули, живешь не царским законом? Ум твой самец росомахи обрызгал. Отдай, собака, тамгу. Я князь тундры!

Никто не двинулся. Злоба несла легко. Рывком прыгнул Тайшин к нарте, схватил тяжелый олений рог и пошел, ошестившись злобой, на Ваули. Два шага от нарты — полпути до цели. Но на полпути вдруг стал Майри. Желваки у него на скулах вздулись и глаза потухли в суровом прищуре.

— Тайшин! — только и крикнул он, как тот далеко отбросил рог, рухнул в снег и хрюкая пополз к Пиеттомину.

— Ваули, я стар, — ловил руку, целовал (перенял в Петербурге у дворцовой челяди), а когда тот с отвращением вырвал ее, стал лизать ноги и полы малицы. — Я стар, я буду хорошо служить тебе. Уплачу много-много выкупа и буду носить дань. Если хочешь, я уйду далеко на Земли Конец, к Большой Воде и буду добывать песка с сыновьями. Только не надо бить старого Ваську.

Ваули давно не слушал его. Стоял неподвижно и испытующе глядел в лицо Нечаевского.

— Так в чум зовешь к себе? За гостеприимство хочешь отплатить? Если друг ты мне, как в тундре — верю! Пнул князя, шагнул мимо к нарте, поднял оленей. — Майри, Янтик, Янка, Зелл, едем к купцу в гости!

Через минуту нарты оторвались от толпы и умчались в даль.

* * *

Давно были сняты теплые малицы с мохнатыми пандами. Спирт, обжигающий чай и яства. Стол, спирт и люди. Люди, пьяная похвальба Янки Муржана и жвачный табак.

Гости обвыклись в тепле. Янка, лежа на лавке, первый раз в жизни пел свою родовую песню о том, что думал, монотонную и тягучую.

Притворяющийся пьяным, Нечаевский обнимал трезвого Пиеттомина и жаловался:

— Рази жисть стала купцу? Как война, али мир — так наш карман трещит. Мы — купцы — держим на своих плечах Рассею! А что нам? Шиш! Дворянам и земля, и дворовые-крепостные, и чины разные, почет, а мы ме-ща-ны! Эх, рази это царь!..

— Мой ум так ходит,— сдержанно отвечал гость,— зачем царским людям тундра? Пошто они идут сюда, обижают неньча и учат их забывать свои законы? Пусть уйдут они отсюда от нас, пусть не берут у нас оленей и зверя. И ты уходи от нас, „Большое брюхо“, не вози к нам в чумы горе и водку. Уходи... Старики помнят, когда пришли царские казенные люди в тундру и неньча с той поры хуже, куда хуже стал жить! Правды я ищу, „Большое брюхо“, правды!

Майри, тоже совершенно трезвый, не слушал их. На тропе зверя, когда белковал в урманах, не слушал так. Вдруг, среди пьяного шума, храпа, пения и ругани почудился ему отдаленный выстрел за окном. Хадакам вскочил, напряжись, как тетива настороженного лука. Нечаевский, заметив его беспокойство, заорал еще пуще прежнего:

— Правильно, друг! Уйти надо нам отсюда! На какой хрем царю эта холодная земля! Уйти нам надо, верно!

* * *

Забрали их так же неожиданно, как отрезвел купец. Никто не сопротивлялся. Все оружие было отставлено к двери, ножи с поясами сняты. Доверчивые гости не могли допустить, чтобы хозяин так подло нарушил незыблемый закон гостеприимства тундры. Она не прощает этого никому.

Майри было пытался отмахивать кухонным ножом жадные руки казаков, тянувшиеся к Ваули, но его ударили сзади прикладом по голове, и он упал. С улицы доносились редкие выстрелы и крики расплох застигнутых людей.

Вязали пленников долго, длинными веревками, пиная и сквернословя. Скорняков целовал Нечаевского. Купец — „Большое брюхо“, захлебываясь, вопил:

— Разбойников там душ пятьсот. Но сейчас они без Вавли — бараны. Пугни их, Владимир Александрыч, ружьишками да казаками и разбегутся дочиста.

* * *

Через полгода старенький, забураненный Обдорск был снова удивлен: исправник Скорняков и купец Нечаевский явились в церковь к утрени в необычайном наряде: первый с блестящим крестом Владимира 4-й степени, а второй с голубой лентой через плечо и с золотой медалью на ней...

„Справедливость“ торжествовала! В специальном государственном указе, что привез в Обдорск усталый казак-голец, так и было сказано: „За подавление бунта инородцев и за поимку главаря Ваули Пиеттомина... исправнику Скорнякову пожаловать „Владимира 4-й степени“, а березовскому мещанину по торговым делам Николаю Нечаевскому золотую медаль и ленту через плечо, для ношения...“

Анатолий Климов.

ЯДКО ИЗ РОДА СЕГОЕВ

Упряжка бежит, теряясь в просторах снегов. У оленей вспотели бока. Пар валит от разгоряченных животных. Они сбавляют рысь, бегут, вяло переставляя ноги. Вдруг на рога вожака падает хорей — длинный шест для погонки упряжки, — и олень стремительно рвется вперед. Веер упряжки нарушен. Но и остальные тоже рвутся вперед, догоняя передового, и снег под их ногами проваливается все меньше и меньше. Разбег взят.

Ядко Сегой успокаивается. Он опять прячет лицо в разрез мехового капюшона малицы — и поет. А снег из-под копыт несущейся упряжки бьет ему в лицо холодно и больно.

Дальше от холода и ветра, глубже в меховое тепло гуся и малицы прячет лицо Ядко и продолжает петь. Песнь эта длинна, как необъятные просторы Ямала, тягуча и монотонна, как тысячи километров снега. Поет Ядко свою родовую песнь — сказание о бедствиях рода Сегоев, о своей семье, о самом себе.

Давно на Ямале запел первый ненец из рода Сегоев печальную песнь о своей судьбе. А потом эта песня, изменяясь из рода в род, пошла по устам всех прочих Сегоев. Пели это сказание и дед, и отец Ядко, поет он ее теперь сам.

...Восемнадцать зим и лет¹ маленький Ядко жил в тундре, когда отец ушел от Каменного Пояса (Урала), с отрогов Пай-Хоя, в Надымскую сторону в поисках правды. Сегои уходили от бедной жизни всем родом. Худой царский начальник привозил в тундру „пирт“, а потом отбирал меха, угонял оленей за долги.

Хой! Хой!..

¹ То-есть девять лет.

—...Уходил род искать правду дальше, думал укрыться от плохих законов, которые делали ненцев бедными. Жили мало дней и ночей спокойно, когда началась большая война русских с русскими. Великий тадибей Тибичи сказал: „Беда, ой, ненцы, большая беда пришла в тундру! Идут из лесов к нам худые, ой, худые люди. Уходите, ненцы, дальше в тундру, на Конец Земли (Ямал)!..“

Хой! Хой!..

—...И отец ушел к большой воде. С ним ушел брат его Хасово Сегой! Одним временем приехал к нам в стан русский начальник. Золотые плечи у него. Много кричал на брата отца — надо ему много оленей! „Где бедному ненцу взять много оленей?“ — ответил ему Хасовой. Тогда худой русский взял шашку, повалил брата отца на нарту и сделал из головы его две! Много крови было тогда, и Ядко шибко плакал. Совсем скоро пришли в стан другие русские, с красной лентой на лбу, и много стреляли в худого русского.

Хой! Хой!..

—... И стоя станом у большой воды, видели потом, как белые (так говорили шаманы) бежали. Они ехали в лодках и скрывались в море.

Хой! Хой!..

—...И сказали шаманы: „Пришел в тундру новый закон — совсем худой закон! Уходите от него, ненцы! Красный закон это! А знаете, ненцы, где красная тундра¹, там голодное стадо оленшек, там смерть. Так говорит бог Яумал-Хе“. И ушли Сегои все, только отец был беден и не мог поднять чум. Остались мы и страшно было. Несколько зим каслали у воды, лета в продолжение рыбу добывали, зимы в продолжение зверя промышляли. Лучше жить стали. Рыбу у нас красные русские не отбирали. Денег в долг давали. Товаров много привозили.

Хой! Хой...

—...Умер отец, и остался маленький Ядко один. Шаман бил в бубен и говорил: „Все Сегои умрут, все ненцы умрут. Умрешь и ты, Ядко, если будешь жить мирно с красным законом. Яумал-Хэ требует жертв! Мало оленей у Ядко, но боги зовут их к себе“. Ядко отдал. Худо стало жить. Три оленя осталось у Ядко. Тогда Каменная Голова — богатей из На-ымской тундры — взял Ядко сторожить свое стадо. Много у Каменной Головы оленшек, ой, много! В стадо зайдешь — и не

¹ Окра ска лишайников, которых не едят олени.

выйдешь, дороги нет до края. Почему же у Ядко только три? Пошто так боги хотят?..

И оборвалась недопетая бесконечная песня около самого чума, заглохла в визге оленегонок-лаек, прилегла у порога ветхой нюги.

— Мать! — сказал Ядко, войдя в чум и садясь у огня. — Мать, на летовки ухажу с оленями на Малый Ямал. Последняя летовка у Каменной Головы, мать, а потом уйду. Шибко плохо у него. Бьет, ругает, а денег не платит. Прошлым днем загрыз у меня в стаде злой сермик (волк) важенку, и опять Каменная Голова в долг меня ввел. Сегодня опять надо жертву большую богам дать. Пусть они помогут мне в стаде летом. Попроси их, мать!

И та, которая родила его, та, которая всю жизнь под суровой скорбью глаз скрывала великую любовь к сыну, сказала:

— Да, Ядко, я принесу богам жертвы, я попрошу их послать тебе в капканы лучшего зверя и отогнать от олешек сермиков. Боги сильны, Ядко, они помогут тебе.

Мать принесла жертвы богам. Сам же Ядко, кочуя с оленями Каменной Головы на Ямал, зашел на Святой мыс — жертвенный мыс кочевников Ямала, между береговыми поселками Хэ и Нори, и здесь отдал шаману две последние лисьи шкурки за моление в честь обильной охоты и счастливой летовки чужих стад.

На летнем приволье тундры Ядко, как и все ненцы из рода Сегоев, познал истинное несчастье рода: копытка и сибирка уложили много оленей из стада Каменной Головы. В капканы и плашки Ядко не шел зверь.

Зато нашел Ядко другое счастье в эту летовку. В станы кочевников в ту пору приехали советские факторщики. Они не были так страшны, как говорили шаманы. Они привезли с собой ненцам много товаров и охотно давали их в долг. Чай, сахар, масло, табак появился в чумах бедняков. Эти приветливые люди называли себя кочевой мирлавкой. У них совсем не было пирта, они справедливо расценивали шкурки зверя и всегда исправно платили за них ненцу-охотнику.

Они говорили ненцам о новой власти, о ее работе среди кочевников, о советах и о богатеях. Ядко был любознательный, приметливый и сообразительный парень. Он и раньше чувствовал всю жестокость и корысть богатеев и обман шаманов и сомневался в их правоте.

Его сомнения еще больше усилились, когда он узнал, что богатеи и шаманы фактория почти не снабжает товарами и продуктами. Понял тогда Ядко и то, почему шаманы и богатеи злы на новую власть. Понял, почему они так уговаривали ненцев уйти от нового закона. Это явилось для него настоящим откровением. Теперь все свободное время он думал обо всем этом, разделяя жизнь на „мы“ и „они“. Выходило ярко, понятно, постижимо — и он стал озлобляться на „них“.

Факторщики первые завезли в Мессовскую тундру Ямала, на территорию реки Мессо, молву о совместной работе бедняков. Много чего не понимал из их разговоров Ядко, но нутром чувствовал в крепком слове — колхоз, артель — большую силу.

Все короткое полярное лето Сегой прожил в муках противоречивых чувств. С одной стороны, временами давили еще священные традиции глубокой древности, заветы стариков и сила шаманских и родовых законов. С другой, надвигалось что-то не совсем пока понятное, но радостное.

Вернувшись с летовки к стоянке своего хозяина, он почти вызывающе принял руготню и сетования Каменной Головы насчет падежа оленей. Хмуρο молчал, когда тот, задыхаясь от злобы, рычал:

— Ой, Ядко, где мои олени? Где красавцы-минеруи и сильные хоры? Иль затаил у кого из родичей моих олешек, собака!

И только под конец не вытерпел Ядко и со злобой выкрикнул:

— Так тебе и надо, проклятый тетто (богач)! Пусть подохнут все олени твои! Других украдешь у нас!

А когда Голова, оскорбленный пастухом-батраком, привычно взял в правую руку тяжелую березовую палку и замахнулся, чтобы ударить парня, Ядко вдруг ошетинился, спокойно шагнул к нему, схватился за нож и твердо сказал:

— Ударишь, старый хор, — изобью, а потом в совет к красному русскому свезу!

Не угроза побоев, а слово „совет“ заставило Каменную Голову окаменеть с палкой в руке. Он понял, что с этой минуты у него не стало больше безвольного батрака.

* * *

Ехал Ядко, провожаемый первыми воплями первых буранов, к своему чуму и пел родовую песню Сегоев. Теперь к ней он прибавил еще свое, новое.

—...Долго, худо, ой, худо жили Сегои в тундре, пока не пришли к ним новые законы красной власти. Этой власти боятся шаманы и, как трусливые теутеи (тюлени), прячутся тетто. Хой! Хой!..

В чуме Ядко удивил мать тем, что не принес, как обычно, жертв богам. Он сухо сказал:

— Я больше не сторож оленей Каменной Головы. Буду промышлять зверя один...

Мать подняла удивленное лицо на сына, но промолчала. Он старший мужчина в чуме — хозяин. Таков закон тундры.

В эту зиму в Норях коммунист ненец Тер Калач собирал колхоз.

Скликал он по тундре всех бедных и обездоленных. Ядко долго обсуждал с другими бедняками этот клич. Долгие криливо-разговорные ночи в чумах о колхозе во многих ненцах Надымской стороны родили сомнения. Как быть? Шаманы пугают, а новый закон зовет. Где правда? Разъехались и каждый увез с собой палочку с зарубкой о дне собрания в Норях.

Ядко в это время болел. Ежась в старых шкурах от порывов ветра, он уныло считал дни. Проходит большой сон (ночь) — сострагивается зарубка. Ждал Ядко последних зарубок, думал, легче будет. Но вот и пришел срок. Упала у чума Сегоя упряжка, и сам Тер Калач вошел в чум:

— Что лежишь, охотник? Зверь бьется в капкане на зимней тропе, — шутил веселый Тер. — Или сны хорошие сбили тебя со счету? Сегодня кончается последний срок, — нет больше зарубок — ехать надо!

— Тер Калач, во мне болезнь. Хорей упадет у меня из рук. Ты поедешь на большой сбор ненцев и отдашь главному русскому вот это.

Подав Теру дощечку, на ней были написаны мысли его последних дней — продолжение песни рода Сегоев.

Когда Тер Калач подавал на собрании дощечку „большому начальнику“ — председателю Надымского райисполкома Пермякову, в президиуме долго не могли понять грамоту Ядко. Вызвали для объяснения ненцев. Те растолковали:

— Первые два знака показывают, что у него в семье два работника. Первый знак, большой — это он сам. Второй — маленький братишка есть. Потом пять знаков — это значит, что у Ядко Сегоя пять оленей, из них три быка и две важенки. Следующие два знака говорят, что у Ядко в чуме две женщины и обе не могут работать — старуха мать и маленькая сестренка. Последний знак — тамга Сегоев, тамга рода, ее

вся тундра знает. Вся дощечка со знаками — заявление Ядко Сегоя о принятии его в колхоз.

— Значит, Ядко батрак? — спросил председатель национального райисполкома. — Кто знает Ядко?

Собрание загудело. Все знали бедняка Ядко. Все знали о том, как он батрачил у Каменной Головы. Ядко Сегоя единогласно приняли в члены колхоза.

* * *

Через неделю в Нори приехал сам Ядко. Исхудалый, слабый, с растрескавшимися губами, но попрежнему живой, готовый работать.

Два дня ходил Ядко вокруг правленцев, вокруг колхозников, приглядывался к работе, спрашивал что и зачем делается, а потом пришел к уполномоченному окружного комитета партии и сказал:

— Колхоз для бедняков? Почему же так мало здесь ненцев у вас? Разве мало в тундре ненцев, которые живут у богатеев? Давай я поеду по станам звать к нам ненцев.

И уехал Ядко разносить по станам и чумам весть о новом труде всем бедным землякам.

Плыли по тундре ошалелые и измученные бесконечной далью снеговые поземки. Вслед за плывущими поземками мчалась упряжка Сегоя. В тундре, в глухомани снегов и буранов росла молва о ненецком колхозе „Нарьян хаер“ — „Красный рассвет“.

Зло ошетикивались при этой вести тадибеи-шаманы и накликивали на колхоз злую беду.

— Красные пришли в холодную землю, чтобы совсем выгнать ненцев... Они собирают ненцев в колхозы, сгоняют их оленей в большие стада, чтобы потом легче отобрать и загнать было...

И немели все, когда вечно молчаливый батрак Ядко Сегой вдруг зло и насмешливо обрывал глашатая старого ненецкого бога Нума.

— Зря много волк воет, шаман. А почему он воет? Злой, голодный и без чума на снегу — оттого и воет. Так и ты, шаман. Почему ты больше всех кричишь? Знаю я. Тебя не зовут в колхоз. Ты стал зол и чуешь беду...

Молчали все, ожидая, что смерть сейчас же на месте поразит Ядко от этих дерзких слов. Духов тундры, законы Ямама, поверия старейших у костра (чье слово — закон!) оскорбил

он. Но Ядко остался живехонек и не ходила по глазам его трусость. Говорил еще Ядко:

— В колхоз надо беднякам итти. Пусть все идут — сыты будут. Кто не хочет, пусть сторожит чужих оленей, отдает добычу богатеям и ходит другой тропой. Много троп в тундре, пусть идут, куда их звезда ведет...

Ездил Ядко по тундре, разносил новую весть о рассвете, крепко схватывался с шаманами, шибко трепал богатеев. Надымская тундра напилалась слухами. Чумы набухали народом и совещаниями.

Ядко вернулся в Нори довольный и возбужденный. Через несколько дней к колхозному стану пришло пять ненцев-оленьеводов. Колхоз рос.

* * *

Новые слова, новая работа захватили Ядко целиком. В чуме его теперь почти никогда не видали. Мать долго не спала, поджидая сына к очагу. Напрасно просиживала старая ночами, прислушиваясь к шорохам тундры. Напрасно ждала она рассыпчатой дробы едущей упряжки сына... Ядко днями и ночами пропадавал в Нориях. День он отдавал колхозу. Вместе с рыбаками готовил инвентарь для путины.

Его можно было видеть везде — в правлении, в лавке, в складах, около стада — и везде он ходил, внимательно приглядываясь к работе колхозников.

Если замечал неладное, помогал исправить, не ругался, требовал, разъяснял. Вечером шел в ячейку (с первых же дней вступления в колхоз он подал заявление в комсомол). Здесь он, в перерывы от занятий, верховодил развлечениями. То подражал религиозному танцу шамана, то усаживался на пол и начинал петь и рассказывать сказки и предания своей родины — холодной, суровой земли, или же под веселый смех ребят неумело подтягивал песню.

Выучился писать по-русски и неплохо читать. Особенно любил он газеты. Быстро далась ему грамота. Было просто удивительно, как у этого паренька хватает и сил и времени так работать и одновременно учиться. Его настойчивости, восприимчивости и организованности можно было прямо удивляться. Ядко впитывал в себя знания, как губка, как черная зем вода. При чем они у него как-то быстро приводились в порядок, любое приобретение находило свое надлежащее место и никогда не забывалось.

Перед ледоходом, когда заболевшая флюсом Обь ломала лед, дождалась старая мать сына. Прежний, живой, веселый, рывком вошел он в чум и радостно сказал:

— Мать, слушай, мать! Там, в нарте, привез я тебе много, много сахара, калача, кренделя, настоящего чаю и посуду! Иди, возьми и ешь много, всего поешь, мать...

* * *

К июню пришла в надымскую глушь Заполярья усталая весна. Пока она шла от берегов Черного моря, с Каспия, широкими Донскими и Кубанскими степями, пронеслась по черноземью, пока воевала со снегами в уральских лесах и камнях, ковыляла по сибирским таежным тропам, пока блуждала в запутанной лесотундре, — выбилась весна из сил и состарилась вместе с временем.

К полярному кругу, к июню, доковыляла старушкой. В двери сурового края вошла она не дерзко, распахнув двери и с силой ликующей молодости, а тихо приоткрыла ее изнемогающей рукой...

По утрам, встречая солнце, гоготали первые утки и протяжно плакали гагары в холодных заберегах и болотах, скромно пересвистывались в перелесках куропатки и многоязычно болтали ручьи.

Просыпалась тундра ото сна.

В середине месяца, наконец, протащила величественная Обь свои разбитые торосистые оковы и задышала часто весенней пьяностью. Вместе со льдом ушли в Арктику холода, моржи, тюлени и снежные пурги. В воду падали хлопотливые перелетные стаи дичи. Берега реки расцветали таями.

В эти дни рыба шла из моря в губу для метания икры. Шли в воде плотные косяки чопорных благородных нельм, суетливых моксунов, прытких сырков и чванливых налимов.

Рыбное обилие стремилось к живунам, к сорам — протокам Оби и заливным лугам, к тиши и покою сытых заводов. Начинался вонзь — весенний ход и весенний лов рыбы в ненецком колхозе „Нарьян Хаер“ — „Красная Звезда“.

Шибко густо и неожиданно идет в воде рыбья орда. Старики-ловцы говорят, что бывают места, когда весло в воде стоит „попом“ — до того плотно подается вонзевая рыба! Едешь на берестяном колдане, гребешь с трудом и дном тащишься по спинам табуна!

Это самое промысловое время, самое дорогое и напряженное. Тут уж не зевай, а лишь поторапливайся.

Колхозники начали ловить дружно.

Ходили невода в воду, не щадили рыбу. К концу июня прошел вонзь. Сегой с бригадой приехал в Нори и доложил в правлении о том, что план они выполнили на сто тридцать процентов.

Осень наступает на Ямале всегда неожиданно. Первыми чувствовали ее пернатые гости юга. В сентябре шумными и крикливыми стаями стали улетать на юг ожиревшие гуси и красавцы лебеди. Забеспокоились в заводях гаги. Затихали на небе пожарища солнца, и ночь вступала в свои семидесятидневные права, а земля, не успевшая оттаять за лето на полметра вглубь, стала вновь застывать.

Надвигалась полярная зима.

В эту пору окружной комсомол в Сале-Харде получил из Нори от комсомольца Ядко Сегоя следующее письмо:

„Лиза и Хатанзеев Миша! Когда вы были в Норях, долго жили там, где наш колхоз рыбу промыслял, говорили что писать надо вам в Обдорск, как работаем мы в колхозе, хорошо или плохо живем, чтобы знали это комсомольцы других колхозов.

Что нужно нам — тоже писать, и вы пошлете из Обдорска или привезете из большого города.

Моя голова много думала и много хочет сказать вам. Когда собрание колхоза было в чуме Якова Салиндера, говорили, не надо кулаков, шаманов в колхоз пускать, я думал: „Зачем так говорить? У нас все хорошие люди“.

Плохо думал. Олени худо в стаде паслись, сермик каждую ночь давит. Почему так пастух караулит? Спал много, оленя резал каждый день, гостей звал мясо есть, кровь горячую пить. Гости, много нарт было, ели мясо оленей день и ночь. Хороший колхозник так делать не будет. Я сказал Того Хатио: „Не надо нам худых людей. Нужно больше смотреть, как пасут оленей, рыбу ловят, песка промысляют“.

Хено Няуси стал хорошо жить. Оленей было мало у Няуси, он пас оленей у нас в колхозе. Оленей у него много стало: 100 больше. Где взял оленей Няуси? Теперь он не колхозник.

У Малых Норей, где чумов много стояло бедняков, куда я с вами и Петром Филипповым ходили звать их на боль-

шой праздник мы там собрание проводили, чтобы оленей одно стадо сделать — так каслать лучше будет на Ямал, а кто дома останется — рыбу ловить будет.

Много ненцев согласилось, стадо большое пошло, пасти два чума отправили, остальные в бригаду Салендера Лапчима записались и рыбу промыслять в Хоровую уехали.

Когда много народу в Таз ехало, у нас в Нориях долго жили, я у них видел патефон, хорошо, очень хорошо играет, все слушать приходили. Мне Айва-Седа рассказал, где его строят. Моя голова думает, что нашу песню тоже так делать можно, и ненцы все слушать будут.

Там, в Ленинграде, учится мой товарищ Няруй Иван, хорошо он пел, когда в тундре оленей пас. Напишите ему, что я просил, и он пошлет, чтобы патефон играл.

Ячейка наша хорошо работает. Бригада ездила в тундру к ненцам, помогала фактории пушнину заготавливать. Трех наших ребят скоро к вам в Обдорск пошлем учиться. Я очень тоже хочу учиться. Колхоз не отпускает. Вы скажите Того Хатио, чтобы он меня на новую зиму отпустил.

Комсомольцы в Нориях на днях стрелять всех собирали, кто метко бьет. Мы на трех нартах из колхоза приехали: я, Хено Пекась, Толе Оковой, Марьин. Винтовка маленькая была, точку далеко поставили, куда бить надо. Все стреляли по 10 патрон, я 8 раз попал. Мне сказали — больше всех. Еще больше так стрелять надо — лучше стрелять буду.

Много я вам сказал, другой раз писать буду, а то рука моя устала, как рыбу неводила.

Будем ждать, когда приедете к нам из Обдорска и привезете все, если наш колхоз за товаром поедет, я поеду в Обдорск, в гости приду и говорить больше буду — моя голова думает очень много.

Опять прощай.

Сегой Ядко."

В окружке письмо не удивились. Тундра, побережье суровых холодных ледяных морей изменяется. Растет там из года в год социалистическое строительство, и шагает через многие века бывший дикарь кочевник, — ныне сын единой трудовой семьи народов нашей великой родины.

А. Климов.

КРЫЛАТОЕ СОЛНЦЕ

(Ненецкая сага¹ о Сталине)

Две ярких звезды над Ямалом ходили.
Одна голубая, как озеро в тундре,
Другая алела, как кровь молодого оленя,
И осенью блекла, желтела и с плачем
В чужую страну убегала от нищих кочевий.
Звезда голубая печаль проливала на землю
И с алой звездой избегала
Встречаться над тундрой.
У каждой звезды были думы и тропы свои.
Порадовать нечем им было кочевья Ямала,
И песен отрадных охотнику
Звезды пропеть не могли.
Звезда голубая и в малице алой звезда
Встретились в стойбище нашей однажды
И рассказали друг другу веселую новость:
— Я видела самое яркое солнце сегодня,—
Сказала алой звезде голубая звезда,—
— Я видела, солнце на крыльях
Поднялось над миром
И светом затмило все звезды на небе,
Сердца обогрело у голодных и чахлых людей,
Измученных рабством.
Я видела, солнце вселило народу надежду
В победу над злом обнищавшей земли.
— Звезда голубая, тебе расскажу я о том,
Что ночью тебе разглядеть невозможно.
Я видела день, я видела час,
Когда это солнце родилось и возмужало
В теснинах сырых, закаляясь
В боях и бесстрашных сраженьях.
Я видела миг, когда новое солнце,
Могучие крылья расправив,
Гордо и властно взлетело над миром.
Я слышала голос светила; оно призывало народы:
„В сражение! Нет пощады врагам!“
Я видела все. Голос солнца был понят:
Звенели повсюду кинжалы и ружья,
От спячки тяжелой проснулись народы.

¹ Устное стихотворное сказание.

И мир был очищен, как тело от гнойных корост.
Молодела земля, и люди забыли про слезы.
Земля набухла побегам почек,
В пустынях и тундрах из недр вырастали цветы;
В новых чумах рождались красивые сказки,
Только новое солнце поселилось не в небе,
А на земле, меж людей,
Созидающих счастье.
Кочевья Ямала его называют —
Сталин — Крылатое солнце.

С ямало-ненецкого перевел Ф. Дудоров.

ПИЛА И СЫСОЙКО

(Из прошлого коми-пермяков¹)

Деревня Подлипная очень непривлекательна на вид. Она состоит из шести домиков, построенных по левую сторону дороги, идущей от других деревень, и разбросанных по неровной местности так, что один домик стоит выше другого, другой — около дороги, а третий и прочие пятятся к лесу. Домики эти, — четыре с крышами, два без крыш, с соломою на потолке, со слюдою в оконных рамах, со стайками и плетушками, — огорожены так: вколотили в землю несколько тонких березовых кольев да и связали за них параллельно к земле, где по две, где по три березки, и назвали плетнем. Ворот в Подлипной вовсе нет...

...Мало в этой деревне видится жизни. Летом еще можно увидеть мужчину или женщину, или ребят на поле или около домиков, но зато не слышится веселого говора, не слышится песен, у всех точно какое-то горе, какое-то болезненное состояние. На что дети — и те резвятся как-то словно нехотя; побежит, упадет, заплачет и побежит домой; даже лошади, коровы и свиньи ходят как-то сонно; одни только куры да два петуха бегают проворно, и воздух оглашается криком крестьян на животных, лаем одной собаки — единственного деревенского сторожа, — уцелевшей каким-то чудом от бойни хозяина, желавшего употребить ее шкуру на шапку, криком кур, маленьких ребят да чириканьем коростелей в болоте... Зимой еще хуже. Тогда все дома погребены под снегом, на дороге целую неделю не видать следов человеческих, все как-будто спряталось, только кой-где корова промычит, да рыщет

¹ Орывки из повести Ф. Решетникова „Подлиповцы“.

по полю собака. Так вот и кажется, что люди вымерли или напала на них спячка.

В самых домах тоже не лучше. Самое худое время, это — зима. Везде бедная обстановка, нечистота, плач и стоны; половина лежит, половина сидит молча или что-нибудь делает, ругая работу, ругая себя и все окружающее. Словно всем им жизнь опротивела, все чем-то мучаются, всем постыл свет божий... А есть между ними и молодые ребята, и молодые девушки: правда, нет красивых, но все-таки и у них есть своя зазнобушка, тоска невыносимая, зависть лютая...

Живут в этой деревне государственные крестьяне Чудинской волости, Чердынского уезда, бедные люди, каких много в северной части этого уезда, но еще беднее прочих крестьян...

У крестьян прочих деревень есть какая-нибудь промышленность, природа дает им что-нибудь для сбыта, а эти просто держатся словно чудом. Уж как они ни возделывали землю, как ни молились своим пермяцким богам, чтобы хлебушко свой был, — нет ничего. Так и бросили поле и вот уже второй год, как поле стоит нетронутым и дает только небольшую травку животным.

Купить хлеба подлиповцам не на что. Положим, они нарубят леса, но куда везти? — город от них в ста верстах. Положим, скосят в лесу траву, и можно будет излишек продать — опять-таки, город далеко, а в других деревнях и селах свое сено, свои дрова и свой лес, — каждый бы сам продал.

Вот они, сделав кадки, лапти, везут это на продажу в город; но там и без них много таких горемык, как подлиповцы, и всякий сбывает за бесценок, лишь бы хлебушка купить. Занимаются они и стрелянием рябков, ходят на медведей; но на порох надо деньги, а медведя хоть и можно убить ломом чугунным или чем иным, так медведей ныне мало. Сбыта очень мало, и редкий много-много получит в лето или зиму рубля три. От этого у них явилась апатия, все они потеряли надежду на сбыт чего-нибудь, и редкого вытащишь из избы...

...Каждый взрослый мужчина и женщина или девушка носят по одной рубахе круглый год, ходят летом в рубахах, зимой надевают полушубок из овечьей, телячьей или собачьей шкур; мужчины надевают на головы такие же шапки, а лапти носят все, кроме детей, которые едва-едва прикрывают тело чем-нибудь. Это еще ничего, но самое главное — пища мучит всех. Настоящий хлеб едят редкие с месяц в год; остальное время

все едят мякину с корой, и от этого у них является лень к работе, болезнь, и часто все подлиповцы лежат больные, сами не зная, что с ними делается, а только ругаются и плачут.

...Подлиповцы уже привыкли к такой жизни, свыклись и со своими болезнями. Они знают, что помочь им некому; даже самые люди против них. Все они, жители своей деревни, родня друг другу — отцы, братья, сестры, кумовья и кумушки; родни у них много и в других деревнях, но те не любят их, не знают с ними, потому что и сами-то они голые, и от подлиповцев нечего взять...

* * *

...Ноябрь месяц в начале. Зима свирепствует немилосердно, как будто все зло свое хочет выместить над Подлипной и ее обитателями. Утро. Холод в тридцать градусов; ветер свистит по полю; деревья скрипят; верхушки их то и дело с шумом пошатывает направо и налево, и впрямь и вкось. Ветер рыщет по полю и гонит снег, как на зло, к самым домам, до половины уже занесенным снегом. Дороги вовсе не видать, — она сравнялась с полем. Больше всего достается крайнему домику, без крыши, с одним окном, со слюдою в рамах, до половины заваленному снегом. Ветер так и рвет с домика, что ему под силу: вон доску, высунувшуюся с потолка, оторвало; вон посыпались высунувшиеся из-под снега камни, составляющие трубу, вон четверть крыши со стайки оторвало, вон и слюда треснула в одной раме, — пошел ветер гулять по избе... Ни одного человека не видно, не видно и животных, даже собака куда-то спряталась... Но вот вышел из одного дома крестьянин, в полушубке из овечьей и телячьей шкур, в шапке из такой же шерсти с длинными ушами, в огромнейших собачьих рукавицах, в синих нанковых штанах и в лаптях. Он уже не молод: ему годов сорок.

— Эко диво! — сказал он, сторонясь от ветра. Ветер и стужа его злили. — Как пойдешь? Гли, што диется... — Он начал шагать и тонул в снегу. — Эк, испугались! Врешь! Ишь ты, цуцело, околить бы те!.. — Он плюнул. — Да будь ты проклят, чорт!.. — Крестьянин дошел до крайней избышки и вошел в нее. В избе холод страшный, ветер так и дует в окно сквозь раму; против окна снег на полу, на столе и на лавке. Изба очень бедна: кроме стен, стола, скамейки да одного худого лаптя, валяющегося среди пола, и небольшого корыта с корой и двумя большими ложками, в ней ничего не видно... Только на полатах да на печке кто-то стонет.

— Эй, вы, цуцелы! Померли али нет?

С полатей раздался стон.

— Ошшо живы! — сказал он весело.

— Пила, поди сюда!.. — сказал с полатей мужской голос.

Вошедший, бросив на пол рукавицы, не торопясь, полез на печь. На печке лежала старуха.

— Скоро помрешь? — спросил он с участием.

Старуха стонала. На полатях лежал Сысой Степаныч Сысоев, прозванный по-подлиповски Сысойком. Ему двадцатый год, но он худ и бледен. Он лежал в полушубке, в шапке, в лаптях и дрожал.

— Печку бы... пали, братан... А? Ишь, стужа, ветер, — говорил Сысойко.

— Ну, уж и времена!.. — На картошки! — сказал Пила и подал Сысойке четыре печеных картофелины.

— Я тожно — беда. Нутро... — Сысойко хотел объяснить свою болезнь и разжалобить Пилу, но не умел. Вдруг он спросил Пилу: — А Апроська?

— Апроська помирал.

— А может, представляется?.. Не помрет?

— Кто ее знает. А канючит больно: подь, бает, к Сысойку, снеси картошки, да пусть, бает, придет молочка потрескать.

— Ох, не говори, — не могу, — моченьки нет... — стонет Сысойко.

Пила молчал. Ему жалко было Сысойку и его мать, которая была больная, слепая и сумасшедшая.

— Истопить уж печь-ту! А где ребята-те?..

Пила слез с печки.

— В печке, — сказал Сысойко.

Пила подошел к окну, стал сгребать рукой снег с полу; постоял у окна, — ветер дует: надо бы заткнуть, а чем? Ничего нет такого. Он взял с полу лапоть, приладил его в раму, а ветер все дует.

— Нет ли чего затыкать-то?

— Нету, братанко, — сказал Сысойко.

— Да хоть рукавиц, што ли дай!

— Жалко!..

— Чорт!.. Успеешь околеть-то... Боров! Лежать бы все... Чуча!

Сысойко сбросил с полатей рукавицы и шапку. Пила затыкал ими раму; ветер перестал дуть, зато в избе темно сделалось.

Пила пошел на улицу; ветер все дул. Пила отскреб немного снега от окна рукавицами и пошел искать дров около стайки, в которой лежала лошадь, не евшая ничего два дня. Пила долго удивлялся ветру: „Экой какой, сила какая!.. Эвон что разворочал“. Он достал с потолка стайки сена и соломы, снес их лошади.

— Ужо я овсеца тебе принесу... Скотинка ты, скотинка экая! — жалобно говорил Пила, смотря на лошадь, как она принялась охобачивать сено и солому.

Гаврило Гаврилыч Пилин, по-подлиповски Пила, был человек добрый, пробойный и работающий...

...Назад тому год Пила постоянно стрелял дичь и сбывал ее в городе, хлеб у него водился; но как-то раз утопил ружье в реке, сам простудился и, пролежав два месяца, обеднел до того, что ему с семейством привелось есть кору, а корове и лошадям вовсе нечего было есть. Оправившись после болезни, Пила насобирал у подлиповцев наделанных кадок, кузовков и лаптей, отправился за больных продавать в селе и городе...

...Все подлиповцы любили Пилу, и каждый спрашивал его совета или просил лечить, так как Пила лечил больных травами, хотя сам не понимал никакого толку в травах. Мысль лечить травами пришла ему в голову тогда, как он увидел в городе крестьянина с травами. Пила не понимал, для чего крестьянин травы продает. — „Это што?“ — спросил Пила крестьянина. — „Это лекарство“. — Слово „лекарство“ для Пилы было новостью; ему показалось, что это что-то баское. — „А как это делают?“ — спросил он крестьянина. — „Да так. Коли кто захворает, ну и пьет траву, коя идет на такую болезнь. Тут всякие есть: затрясет тебя лихоманка, забьет, брюхо заболит, ну и лечатся такой травой“. — „Лиже ты! А где они растут?“ — „В лесу да болотах...“ Вот Пила и стал собирать летом в лесу да в болоте разные травы с цветочками, вырывал с кореньями и лечил подлиповцев. „Ну-ка, съешь эту травку, хворать не станешь“, — говорил Пила больному. Больной ел, и ему становилось либо лучше, либо хуже, и все-таки все просили у Пилы травы. Пила давал, не требуя за это ничего...

...Жена Пилы, Матрена, была такая же, как и прочие подлиповские женщины, часто хворающая, но несколько крепче прочих: она скоро выздоравливала...

...Все дети их — Апроська девятнадцати лет, Иван шестнадцати, Павел четырнадцати и Тюнька трех лет — росли на произвол судьбы.

...Сысойко живет рядом с Пилой, и дома их отделены друг от друга даже плетнем. Сысойко был самый бедный в деревне и редко бывал здоровым. Отец его ходил на медведей с чугунным ломом и брал его с собой. Но медведей было мало, так что в год они убивали много — медведя три. Мясо медвежье они ели, а шкуру продавали в село за дешевую цену. Тогда, при отце, можно было жить, но вот уже два года, как отца загрыз медведь, а Сысойко, бывший с отцом, хотя убил этого медведя, но медведь исцарапал ему плечо. Сысойко едва-едва дошел до своей деревни, сказал о беде Пиле и вместе с ним повез отца в село, захвативши с собой и убитого медведя. Священник не стал хоронить отца Сысойки, а почему-то призвал станового пристава. Становой привязался к Сысойке и Пиле, говоря, что не медведь загрыз отца Сысойки, а они уходили его и только для формы привезли медведя. Становому хотелось взять себе убитого медведя и он взял-таки его и попросил священника отпеть покойника. С той поры Сысойко живет очень бедно: в лес бить медведей не ходит, стрелять дичь пороха нет, продавать кадки и прочее не стоит, да и Сысойко умел только лапти плести. И вот Сысойко помогал чем-нибудь Пиле, то-есть вместе с ним искал лекарственную траву, ездил по нужде в село и в город, за что и пользовался от Пилы подачками, хлебом и мясом; но так как он часто хворал, то не мог всегда бывать с Пилой, и Пила навещал его. Пила и Сысойко так привыкли друг к другу, что по целым дням проводили вместе, ничего не делая, а лежа; если Пила хворал, а Сысойко был здоров, Сысойке казалось, что и он хворает, и наоборот. Пила и Сысойко в болезнях всячески старались угодить друг другу, а если Сысойко был здоров, то целую неделю жил у Пилы и спал на полатах с Апроськой.

Сысойко и Апроська росли вместе, но тогда у них были только детские отношения; такие же отношения были и тогда, когда Сысойке было восемнадцать лет, а Апроське шестнадцать, но вскоре они уже изменились. С первого же времени молодые люди привязались друг к другу — обоим им было скучно, когда они не видели друг друга по неделям, а потому часто навевывались друг о дружке у Пилы и сходились — или Сысойко в доме Пилы, или Апроська в доме Сысойки.

Сысойке страшно опротивела жизнь в своем дому: каждый день и даже ночь ревели его маленькие брат Петр четырех лет и сестра Пашка двух лет, которые мерзли с холода и постоянно голодали. Эти маленькие дети, не умеющие еще

выговаривать слов и ходить, постоянно лежали или сидели полунагие, одетые в несколько тряпок, сшитых наподобие мешков. На них не обращалось внимания ни Сысойкой, ни матерью, которая, больная и сумасшедшая, постоянно лежала на печке и охала.

...Хотелось Сысойке жить у Пилы, да Пила говорил:

— Нет, брат, изба моя махонькая, куда же я тебя пушу с ребятами и матерью?

— Да я один,— напрашивался Сысойко.

— Уж не говори. Те ребята-то все же брат да сестра. Ну, да хоть помрут, не жалко, а мать-то? Она, брат, родила тебя.

— А ты лучше живи там, да сюда ходи,— заметила Матрена.

...Пила принес в избу Сысойки охапку дров. Бросив их на пол около печи, он заглянул в печку. Там лежали мальчик и девочка нагие.

— Эй вы, лешие! Вылезайте!.. Спалю тожно...— крикнул Пила.

Из печки не слышно было ни голоса, дети не двинулись. Пила потащил из печки за ногу мальчика. Мальчик был мертвый.

— Ишь ты,— сказал Пила и стал щупать мальчика.— Помер.

— Кто? — спросил Сысойко.

— Парень.

— Ну, и ладно... А девка-то? — спросил Сысойко и высунул голову с полатей.

Пила вытащил за ногу девочку. Она была тоже мертвая. Левый висок ее был чем-то проломлен; лица ее незаметно было: все оно запеклось от крови, и на нем засох мусор от печки.

— Сысойко, гли (смотри)!

Сысойко плохо видел с полатей.

— А што, померла?

— Слеп ты, што ли? Гляди, убита!..

— Вре?

Пила положил мальчика и девочку на лавку и долго смотрел на них жалобно.

— Слышь, Сысойко? Ты убил девку-то?

— А пошто?

— Право, ты?

— Цуцело ты, Пила! Што я медведь, што ли, эк ты!—

Сысойко не стал и говорить больше, а спрятал голову в полушубок.

Пила нащепал березовой лучины, достал на трут кремнем огня, зажег лучину и стал смотреть в печку. В ней лежал большой камень, отвалившийся с неба печки. Теперь Пила понял, что не Сысойко убил девку, а этот камень сам отвалился. Только как же на парня камень не упал, а на одну девку?..

— Смотри-ка-сь, экой камень-то! — сказал Пила Сысойке, показывая ему камень.

Сысойко посмотрел и разинул рот от удивления, но ничего не сказал...

На другой день Пила сделал ящик в виде гроба, положил в него два маленьких трупа, завернутых в мешки, заколотил ящик досками и повез на дровнях в село.

...В село Пила приехал ночью. Переночевав у знакомого крестьянина, он утром отправился к священнику. Известно, что в сельских церквах служат только по воскресеньям и в большие праздники. Так и теперь церковь была заперта, и к ней не было даже дороги проложено, то-есть, незаметно было следов человеческих.

Священник долго не соглашался хоронить детей. Пила несколько раз ездил к нему, и вот уже пятый раз приехал к нему. Священника это проняло.

Он стал надевать худенькую с заплатами рясу, кликнул дьячка и послал его с Пилой в церковь.

— Ну-ко, Пила, открой гроб!

— А пошто?

— Так нельзя.

— Да ты уж совсем зарой, а то земля в глаза насыплется.

— Ну, открой. Тебе говорят, нельзя так. Кто тебя знает, что ты привез тут.

Пиле обидно стало.

— Цуцело ты, как я погляжу! Сказано, сысойковы рсбята.

— Хочешь, станového призову?

Пила струсил и открыл топором одну доску.

— Ты другую открой.

Дьячок раскрыл один мешок. Мальчик лежал лицом кверху; дьячок осмотрел его всего — мертвый. Жалко ему стало мальчика. Раскрыл другой мешок. Девочка лежала на животе. Стал и девочку осматривать дьячок и, как взглянул на лицо, с ужасом отступил.

— А, так ты так-то хочешь нас провести! Что это такое?

Пила испугался. — Батюшка, не я!..

— Врешь! Кайся, разбойник!

— Ты не кричи, эх испугались! Медведей бивал!

— Так ты еще запираешься? Сейчас станowego позову.

Пила повалился в ноги.— Батюшко, не губи!.. Камнем девку-то пришибло в печке! Што хошь возьми... не губи...

— Рассказывай, как было!

Пила рассказал все. Дьячок верил и не верил. Он стал еще смотреть на лицо девочки: кажется, и камнем из печки пришибло, кажется, и кто-нибудь убил. Он затруднялся: поверить Пиле или нет?

— Не верю я тебе. Пойду к становому.

— Батюшко, не губи! Я все сказал... Што я, зверь, што ли?.. Сысойко хворат, старуха тоже... А эти в печке дрыхнули... Я так и увидел камень на лице-то.

— Целуй крест!

Пила поцеловал.

— Клянись, что не ты убил.

— Эх ты! Я вон и Сысойку спрашивал, он заревел только, жалко стало. А ты говоришь убил убил!.. Эх ты!.. Я вон только восемь медведей убил...

Дьячок опешил. К подобным выходкам он уже привык.

Пила опять повалился в ноги.— Не губи, батюшко!

Через два часа Пила вез в Подлипную на своей и поповских лошадях, запряженных в поповские сани, попа и дьячка.

Дорогой в Подлипную Пила долго ругался. Священник с дьячком рассуждали, как поступить с подлиповцами: никакие страхи их не берут и веровать-то они по-христиански не хотят...

Наконец, приехали в Подлипную. Священник и дьячок вызвали в избу Пилы и влезли на полаты, потому что в избе было холодно, да к тому же они прозябли. У дьячка был в запасе бурак с водкой. Семейство Пилы осталось на печке. Апроське было немного легче, но она все лежала, Иван все хворал, Матрена ходила.

— Ну-ко, Матрена, дай нам закусить,— попросил священник.

— Да что я тебе дам-то? Хлебушка нет, молока нет. Кору мынче едим...

— Поди пособирай в деревне.

— Где уж там, ни у кого нет хлебушка. Вон Пила не привез-ли...— Пила действительно привез две ковриги хлеба и несколько фунтов муки. Пила распряг лошадей, ругая дьячка. Павла он послал к подлиповцам: „Беги ко всем, скажи: поп, мол, наехал...“ Павел ушел и сделал так, как велел Пила. У подлиповцев до сей поры все образа были где-то на полках; теперь Павел поставил их на полки в передних углах.

Пила принес в избу хлеба, отрезал несколько ломтей и роздал священнику, дьячку и своему семейству. В несколько минут одной ковриги не стало.

— Ты, тятка, снеси Сысойке-то! — просила Апроська Пилу.

— Эй ты, Пила! Хошь водки? — кричал с полатей дьякон, уже опьяневший.

— Давай.

Пила хлебнул из бурака.

— Ну, пойдем к подлиповцам, — сказал священник, слезая с полатей.

Пила повел священника и дьячка к Сысойке. С собой он захватил полковриги хлеба.

Сысойке было легче, но он все еще лежал. В избе холодно и темно.

— Зажигай лучину! — командовал дьячок.

Лучину зажгли.

Священник стал смотреть в передний угол: есть ли икона.

Икона была.

— Эй вы! Отчего никого нет? — кричал дьячок.

— Да больны они, больно больны, — сказал Пила. Сысойко спрятался в угол на полотах и молчал. Мать его попрежнему стонала.

Переночевав у Пилы, священник и дьячок поехали в село. Пила ехал за ними на дровнях; за дровнями шла Пилина корова с веревкой на шее.

Как ни горько было Пиле вести корову в село, но он из боязни, чтобы не погубил его становой, решил отдать ее. „Ужо, как помрет Пантелей, возьму его корову себе. А не помрет, из другой деревни уволоку“, — думал Пила.

Матрена, как Пила стал привязывать корову к дровням, поленом ударила Пилу, дьячка обругала, как только могла, и, может быть, убила бы Пилу за корову, да у нее силы не было: Пила и дьячок до того избили ее, что она едва добралась до своей избушки. Матрена больше всего в своей жизни любила корову. Корова для нее была больше, нежели дети: дети ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молоком и летом не просила есть, а питалась в лесу, сама находила пищу для себя; только зимой Матрена наваливала ей каждое утро сена. А теперь как она будет жить без коровы?..

Пила приехал в село вечером. Заплакал Пила, как заперли его корову в чужую стайку. Хотел он увести корову ночью, да двери стайки были закрыты.

На другой день отпели умерших. Пила с церковным сторожем едва-едва сделали на кладбище маленькую ямку и свалили туда гроб, потом завалили яму землей и снегом. После этого Пила пошел к дьяку просить денег. Дьячок сжалился над Пилой, дал ему пятнадцать копеек серебром. Пила был очень доволен этими деньгами и даже повалился в ноги.

Выйдя из двора дьячковского, Пила долго стоял у своей лошади. Его сильно давило горе. Он лишился коровы, которая кормила его. Как он теперь без коровы будет жить? Как семья его пробыется до лета? Не корова бы, что бы было с ними? Пиле все теперь опротивело, проклял он свою жизнь, долго бил свою лошадь, сам не зная за что; сел на дровни, стегнул лошадь, сам не зная за что; лошадь пошла по улице. Пила не знал, куда ехать, и пустил лошадь на произвол. Лошадь дошла до лесу. Дорога вела в деревню. Пила не поехал в деревню, поехал в город.

В городе Пила шатался две недели. Жил он подаяньем добрых людей. Придет в дом, попросит ради Христа, ему дают, кто ломтик хлеба, кто грошик. Ломтей у Пилы накопилось много; деньги шли на водку. Хотел он купить на рынке корову, да просили десять рублей. Видел он дьячка своего сельского, тот сказал ему, что корову он подарил по начальству. Узнав где корова, Пила две ночи сряду ходил к воротам нового ее хозяина, да все ворота закрыты; перелез он через заплот, да и там не нашел коровы, а зарубил топором двух свиней и перебросил их через забор, увез в лес и там зарыл в снегу.

Пила собрался ехать, как увидел около питейной лавочки толпу мужиков: зырян, вотяков, пермяков и крестьян Вологодской и Архангельской губернии. Пилу любопытство взяло, и он спросил одного из толпы:

— Што, ребя?

— Ништо,— сказал один крестьянин.

— Ты откедова? — спросил Пилу другой крестьянин.

— А подлиповец! А вы-то?

— А мы бурлацить.

— Лиже! А пошто?

— Бают: баско, богачество, бают...

Пила задумался. Каждую зиму он видел около этого кабака толпу мужиков, каждую зиму он слышит, что они идут бурлачить, богачество, бают, от бурлачества получают. Прежде Пила не верил мужикам, говорящим про богачество, и не спрашивал, что такое бурлачество, теперь ему опротивела

жизнь, мужики раззадорили его: „не лучше ли бурлачить?“ — спросил сам себя Пила. „А Сысойко?.. а Апроська? Ну их к лешим и с бурлачеством!..“ Апроська показалась Пиле милее бурлачества... „Уйди там, а куда?.. Ну, уйти — и тю-тю...“ — думал Пила. Однако он снова подошел к бурлакам.

— А вас много?

— Не все ошшо. — Их было человек тридцать.

— А далеко?

— Далеко.

— А што робить?

— Плыть.

— Э! А скоро итти-то?

— Скоро.

Пила ушел от бурлаков и поехал в Подлипную. Дорогой он думал: „Итти в бурлаки или нет? Бурлачество, бают, хлеба много... А в деревне што! Тот болен, другой помирает, третьего везти хоронить надо. Эх!.. Надоела эта жизнь! Дай, пойду в бурлаки... Надоели подлиповцы: пусть помирают, мне не пособить. Только выздоровеет Сысойко и Апроська, возьму их с собой...“ Пиле эта мысль хорошо показалась, он захохотал и решился во что бы то ни стало уйти с Апроськой и Сысойком бурлачить, сам не зная, что это за дело такое, веря в слово „богачество“ и в надежду иметь всегда много хлебушка... „Уйду же я, уйду! Уж не поклонюсь боле никому, не дам коровы. Что я без коровы-то? Вон везу две свиньи, да что толку — не живы. И станového теперь не боюсь...“ При мысли о том, что он будет бурлачить, Пила чувствовал какую-то легкость, свободу, удовольствие и никого не боялся.

До Подлипной Пила ехал четыре дня. Ночи он спал в деревнях. Каждую ночь ему мерещилось бурлачество, или он идет куда-то на гору с Сысойком, Апроськой и всеми подлиповцами. Сердится Пила: зачем это прочие подлиповцы идут, зачем и Матрена тут, и старуха Сысойкова тут?.. Идут они долго-долго, все гора, и конца нет. Вот один свалился с горы, за ним другой и прочие, и Пила в страхе кричит и пробуждается. „Не дошли“... — ворчит Пила и силится заснуть, чтобы увидеть что-нибудь получше — хорошо ли бурлачить... Ему опять кажется: опять он с своим семейством и подлиповцами на поле, и все рубят дрова. Рубят, рубят, а дров нет. Где же Сысойко и Апроська? Жалко стало Пиле, стал он искать их, нашел — лежат в подлиповском болоте мертвые — медведем изгрызены... Заплакал Пила, заревел... Проснулся,

на глазах слезы... Живы ли Сысойко и Апроська?.. Сердце дрогнуло у Пилы: „А что, если померли?..“ Пила не мог придумать, что будет с ним, если помрут Апроська и Сысойко. Он только и придумал: „А пошто я-то не помру?.. Я-то нашто живу?..“ В первый раз в жизни Пила почувствовал сильное горе: мысль о Сысойке и Апроське всю дорогу мучила Пилу, всю дорогу он не находил покоя. Зол сделался Пила, и боялся он приехать в деревню, точно в ней сто медведей засели...

* * *

Приехав в деревню, Пила отправился к Сысойке. Домой он побоялся прийти. В избе было темно и холодно, не слышно ни звука, ни шороха... У Пилы сердце дрогнуло.

— Али померли? — спросил Пила.

Пила не получил ответа. Хотелось ему удостовериться, залезши на полати, да боялся Пила. В первый раз в жизни Пила побоялся покойников. Однако Пила залез на печку. Там лежала мать Сысойки. Пила заглянул на полати, никого нет. Полегче сделалось Пиле: „Теперь Сысойко у меня... мать, верно, померла“, — сказал он весело. Стал он щупать старуху: старуха холодная, не дышит, лицо зелено-красное, глаза открыты, так строго смотрят... Пила струсил старухи, соскочил с полатей, плюнул на печку и убежал на улицу... „Ишшо загрызет, стерва“, — ворчал Пила.

В свою избу Пила вошел весело. Как только он вошел, жена него закричала Матрена:

— Што, дьявол!.. Всех нас уморить, што ли, захотел?.. Вон Апроська-то померла!..

Пилу как обухом кто ударил по голове, он рот разинул и тупо смотрел на печку, где сидел Сысойко, бледный и такой сердитый... Жена все ворчала:

— Ишшо не околел ты, чорт!.. Другие мрут, а ему смерти нет!

Пиле горько сделалось. Ударил он жену и полез на печку. На полатях лежала Апроська. Она была такая же, как и две недели тому назад, только не дышала. Пила не верил, что она умерла; стал он ее толкать, она не шевелится... Взвыл Пила, убежал на улицу, забрался в стайку и долго там плакал... „Помру ли я? — спросил сам себя Пила. — Уйду отсюда! Уйду!“ — закричал он и вышел из стайки.

Пила хотел ехать, но ему жалко стало Сысойки, да и что делать с Апроськой?

Везти надо ее, опять надо к попу ехать!..

...Наконец, Пила и Сысойко уверились в том, что Апроська умерла. Им сделалось легче. „Апроська умерла. А я-то пошто живу!“ — думали Пила и Сысойко.

— Пила, заруби меня, — сказал Сысойко.

— Э!.. Ты заруби.

Оба они думали о смерти, но все-таки обоим им казалось страшно умереть, обоим хотелось еще пожить...

— Поедем, Сысойко!.. Поедем, — говорил Пила.

— Куда к лешим?

— Бурлачить.

— Убей меня!..

— Богачество там... Ну, что в деревне? Апроськи нет. Эх, горе! — Пила заплакал.

Сысойко изругался, в ругани он хотел излить все зло на эту жизнь, — на все, чего он не понимал...

— Пойдем, Пила, пойдем, братан... Эх, Пила!

Горе обоих велико было. Для обоих мир этот казался тяжелым, невыносимым.

Ф. Решетников.

РУННОЕЗ О КУДЫМ-ОШЕ И ЕГО СЫНЕ ПЕРА¹

Было древнее, древнее время, когда в лесных дебрях Прикамья от Чердыни до Оханска, от Сарапула до Вычегды бродили кочевые народы и боролись между собою: за право охоты,

¹ В очень отдаленные от нас времена, приблизительно до IX века нашей эры, в Прикамье и на Северном Урале существовал целый ряд мощных по тому времени культур. Они возникали, цвели, рушились, сменяя одна другую. След этих культур дошел до нас в виде остатков городищ, курганов, каменных баб, монет, различных предметов со следами самой искусной отделки, таинственных надписей на изъеденных временем плитах и т. д.

Об этих культурах говорят также древние сказания и легенды, бытующие среди народов Северного Урала. Сказания эти часто проливают свет на отдельные факты и события из древней истории, о которых мы лишь догадываемся по памятникам материальной культуры, и позволяют восстановить иногда ту или иную картину из далекого прошлого.

Таким является и образец древнейшего коми-пермяцкого эпоса — рунноез („сказание нараспев“) о Кудым-оше и его сыне Пера, — вскрывающий один из моментов в истории „северных народов“ — „трагическое“ породнение древних пермяков с манси (вогулами).

Кудым-Ош — легендарный коми-пермяцкий вождь. (Ош — по пермяцки медведь).

Записан рунноез со слов талантливейшего сказителя коми-пермяцких легенд и преданий, недавно умершего Пимена Матвеевича Яркова.

за рыбную ловлю, за сухие привольные места. Когда более сильный одолевал слабых, он „садился на землю“, к нему примыкали более мелкие племена, и народ — укреплялся: начинал строить себе по границам оплоты, внутри — городища, искали торжки и ходили учиться в далекие страны... Так возникло великое Пермское царство и долго держалось, и чем крепче были вожди, тем могутнее было их царство, и чем крепче вожди те держались с народом, тем мощнее и грознее был тот народ для врага. И даже в Заморье боялись тех крепких и сильных, хоть и дальних племен.

Так сколотили себе свое царство люди лесные парма-эки.

С тех пор, как меж них появился добрый и мудрый правитель Кудым, по прозвищу Ош (медведь), стал он меж ними первый и равный, самый сильный и самый трудолюбивый.

Понял Кудым, что каждый человек должен быть и один и — не один: все как один и один — как все.

И поделил он меж парма-эками земли на большие участки, поселил племена в городищах. По границам, за тыном высоким, в местах проходных укрепил сторожевки.

Молод но мудр был Кудым, а когда пришел в возраст, в могутную силу, стал он думать о том, кто заменит его, когда силы ослабнут, кто народ не расхудит по смерти его, кто сумеет управить народ и того не растратит, что зерно по зерну, много лет собиралось с любовью. И думал Кудым о жене и о будущих детях: что коль ладные выйдут — изрядно, а уж как межеумки... Медлил браком и крепко душой сокрушался.

И однажды советник Кудыма, старый мудрец Аббама, которому дорого было все то, что трудом да терпением создал Кудым, сказал ему, руку свою вождю на плечо положивши:

„Ой, сходил бы ты на холодные страны, на Сиверки реки к Виджо-колдунье. Чуется мне что ведунья та высмотрит в жены тебе баскую деву. Виджо хитра и умна, плохому тебя не научит. Но берегись к ней с дружиной итти. Виджо не любит, чтобы в земли ее вторгались с дружиной вожди стран иных. Странствуй один, пробирайся, дерзай и обрящешь“.

И Кудым-Ош Аббаму послушал, созвал лучших людей, надумил, что надо в его отсутствие делать, а сам отправился со-конь с другом единым, в край студеный, к Виджо-ведунье.

ПУТЬ КУДЫМ-ОША

Три дня ехал Кудым, сам-друг, по лесам, выправляя, где что было неладно, учил по пути свой народ лесной и охоте,

и пашне, и рыбному лову. И на третий день, за борами, начался мелкий березник да топи. Ждать надо было, пока морозы болота скуют, потому что редко кто смелый решался в пролазы итти на погибель. Были они местами на многие пяди шириной в человечесью ступню, а с боков их пучины, трясины. Даже югра боялась ходить в те пролазы до самой студеной поры.

Думал Кудым-Ош, бороду в руку загреб, а другою обнял за шею коня своего и надумал. Вынял секир-кирвец и, свалив сухостойное древо, отнял с комля две колоды и сделал долбянки-плоскуши, в днища ввернул стояки, стояки по верхушкам перекладною сосенкой соединил. Вырыл две ямины в глинах, в шаге одна от другой, в те ямы воды наносил с ключа и долбянки поставил в воду, справа и слева. Стал между ними Кудым, и сосенка по грудь пришлася ему, захватил он сосенку руками, ноги согнул и повис, и увидел: долбянки не тонут, в воды осели и держат Кудыма изрядно. И взвеселился Кудым-Ош. „С такой снастью я чрез болота пройду до студеной поры“. Да еще: сделал лямку Кудым-Ош из лыка, к сосенке привесил, чтоб ногами на ней отдыхать и хранить в торбе стрелы, да лук, да кистень и кирвец свой добротный. Снеди с собой захватил на пять ден и, оставив коня пастись, двинул в пролазу. Крепко долбенки держали, ноги скользили над бездной, крепко руками за перемычку держался Кудым-Ош, по гиблым местам пробираясь к Сиверким рекам и к Виджо.

Ярким солнечным днем выбрался путник до суха, кончилась топь, лес подобрел, под ногою не чвакало больше, бело-зеленые мхи кое-где пропускали змеистые серо-лиловые тропы. Стукнул дятел на сухостое. Увидел Кудым-Ош сухую узкую Лячу и по Ляче разбросаны были панцыри древних зверей, в море живших когда-то. И спрятал он снасть свою, всю разобрав, в надежное тайное место. Сухой можжевелевой хвоей отчистил от грязи шабур, шапку да лапти. Солнце заметил и на полудень пошагал напрямиком.

Долго шел и набрел на дорогу и на ней заметил след ширококолесный и ямки в следу, а рядом — следы человечьи в лаптях остроносых ногами на холод. И по этим следам Кудым-Ош свой путь продолжал. Стали редеть могутные сосны, дорога взвивалась в кручу, а из-под кручи бежал чистый да светлый ручей и, близ дороги в озерко сбирался, чистою светлой струею по гальке журчал, по борони струился. Разулся Кудым, матруженные ноги в светлую влагу спустил, переобул онучи

да лапти, лег к водоемине той головой, опустил ее в светлую влагу. Много сил и жизни влила вода в утомленное тело Кудыма.

Далее — в путь...

ЗЕМЛИ НАРОДА ВЕДУНЬИ ВИДЖО

...Взобрался Кудым на кручу и ахнул: перед очами его расстилались холмистые взгорья, долины, в удобных местах улеглись деревни, на полях копошились люди и на оленях рогатых они убирали посевы. Всюду змеились дороги к домам и к деревням, и далеко-далеко разливались озера в оправах синих-темных лесов.

Вошел Кудым в земли иные, в земли царицы Виджо-ведуньи и понравилось все парма-эку, ровно то был сон добрый да ясный. Он подошел к человеку, элак убиравшему, вздынул ладони к плечам и с поклоном сказал: „Ово-морт!“ Тот ему что-то ответил и мимо оленей прогнал.

Поглядел Кудым вслед тому пахарю: к лямкам оленьим были привязаны сани, дивные сани те были: в кружках да в колесах, и снизу сверкали ножи, треща и вращаясь, под корень резали рожь, и рядами она упала. Женщины шли за санями и, дружно сгибаясь, рожь убирала в снопы, но не так убирала, как у Кудыма на родине, а — по-иному: были в руках у них вички, завертвые палки: глаз не успеет моргнуть, а уж сноп и увязан.

Молча дивился Кудым. Вдруг — почуял, руку ему кто-то на плечо положил. Оглянулся Кудым и увидел: мужик пожилой и благообразный стоит, улыбаясь, и на Кудыма глядит. Вздынул руки к плечам Кудым-Ош и поклон ему отдал. И мужик тот принял поклон и сказал языком парма-эков: „Ово-морт. Ведаю я, что ты вождь парма-эков Кудым-Ош, и что пришел ты к матери нашей, к Виджо-ведунье. Виджо меня за тобой послала, Кудым-Ош, идем к ней...“

Кудым ответил: „Прозорливец ты, морт, или повелительница твоя прозорлива. То-то мне диво-дивное. Как же я покажусь ей на глаза, раз — шабур мой истрепан, лапти распались, онучи бы надо помыть. Да нет у меня и расчески, чтобы волосья да бороду расчесать“. Мужик ответил Кудыму: „Нет у нас повелителей и нет у нас подчиненных: Виджо — наша единая мать, а мы — ее дети... Идем“.

Повел морт Кудыма в широкую да чистую избу, излил ему на руки горячей воды из кувшина со щелоком да с мя-

той, оболочек его в новый шабур из белой оленьей замши с диковинным узором по полам да по воротнику, на ноги повелел надеть пимочки мяконькие, бороду да волосы взбодрил расческой, помастил зельем духовитым, прекрасным. „Я понимаю, Кудым, что нельзя тебе предстать перед великой матерью нашей в истрепанном виде походном. Вот, погляди, каков ты теперь стал молодец.“ И поднес к лицу Кудыма зеркало полированное, а по ободам было то зеркало обложено моржовой резаной костью дивно-предивно. Взглянул Кудым-Ош в зеркало то и подивился. Раньше видывал он себя только в водах речных да озерных, и теперь разглядел он могутное лицо свое, темные кудри, бороду темно-русую с рыжинкой. „Изрядный мужик я, коли так“,—подумал Кудым, поглядевшись...

ВЕЛИКАЯ МАТЬ

Прошли через колотые дощатые сени в горницу... Во всю жизнь свою не видывал Кудым такой горницы: скобленая, чистая, по стенам лавки широкие, оконца в разноцветных отрезках холста. Но красивее всего в горнице была хозяйка Виджо. Подошел мужик к Виджо, поднял край ее платья и приложил ко лбу своему и сказал непонятное слово, и это слово Виджо повторила в ответ ему. А Кудым наклонил голову свою и руки воздел к плечам по-пермяцки. А Виджо была хотя и не молодая собою, но прекрасна лицом, высока ростом, стройна и величава. Сидела она у прялки и, разговаривая, работы не кончала; глядя на прибывших, улыбалась, и низко над белым скобленным полом жужжало веретено, заматываясь красной тугою нитью. Низким грудным голосом, на чистом языке коми, приветствовала она Кудыма-Оша: „Ово э-ово“, ¹ могутный Кудым. Знаю я, что привело тебя в наш далекий и смирный край. Ведомо мне, что ты думаешь думу о сыне, о друге, подобном тебе, чтобы он, твой будущий сын, был великим вождем и вывел народ твой к счастливой жизни. И ты, Кудым, будешь иметь такого сына-богатыря, но не от жен земли твоей будет рожден будущий вождь твоего народа, а от дальней женщины чуждого племени. Я окажу тебе помощь и скажу заранее, что должен ты принести большую жертву“.

Кудым ответил: „Великая мать неведомого мне народа. ведаю я, что советы твои плохими быть не могут, и заранее готов

¹ Ово-э-ово — старинное коми-пермяцкое приветствие.

дать обещание принести всякую жертву, которая даст мне наследника, достойного управлять народом коми, в том даю тебе я свое накрепкое слово“.

„Слово твое, — сказала Виджо, — крепкий кремневый топор в искусной руке твоей“. — Подумав, она продолжала: „Я вижу далеко и знаю, что трудно будет твоему мужскому достоинству бороться с тем испытанием, которое ты принимаешь на себя по своей доброй воле... Девушка, которую ты возьмешь себе в жены, живет у великих камней Тоссемь и Ялпынь-нэра¹, она дочь вождя великого народа, имя вождя того — Ман-Ньяысс², она — царевна и нет ей на всех великих и малых землях равной по безобразию. Четырех прекрасных дочерей выдал замуж Ман за великих вождей, а от этой — даже дурачки приходят в разум и убегают быстрее оленя. В народе сложили песни об ее безобразии, и если Ман где-нибудь слышит такую песню, то певец платится за нее своей головой. И вот, Кудым, от этой девушки, от этого подобия женщины и скота, когда ты познаешь ее, родится у тебя сын, могучий вождь твоего народа и приведет его к новой, богатой жизни... Да еще помни, Кудым, не скрывай любовь свою с ней во мраке ночном, во мраке шатра, а смотри, ее познавая, в глаза ей, и тогда, и тогда... — раздумчиво и проникновенно прибавила Виджо: — может, и не будет... так плохо тебе. А если ты того не сумеешь, то жертва твоя будет не полная и не будет рожденного ею“.

ТЕПЛЫЕ ЗЕМЛИ

Управитель ведуньи Виджо показал Кудым-Ошу обширные земли, по которым зеленым ковром стелились травы и злаки, немыслимые во владениях коми народа, и сказал: „Вот они, теплые земли, потому они теплые, что разумом своим согрел человек когда-то холодные недра и помог матери нашей — земле освободить скованные соки плодородия, согреть утробу земную трудом. И дала земля за то человеку сторицей тучные пажити и травы. По холодным полям нашим и тундрам местами проходят теплые струи подземные и где они дышат, там ищем мы и находим. А буде случится быть тем землям вялым и

¹ Тоссемь, Ялпынь-нэр — мансийское (вогульское) название вершин в цепи северного Уральского хребта.

² Ман-Ньяысс — легендарный мансийский (вогульский) вождь, который жил, по убеждению манси, на „Камени“ — горных вершинах Северного Урала.

полуживым, то мать наша Виджо дала нам для них дивно дробленые камни и непростые пески. Те камни и пески имеют чудесную силу: от человеческой горсти сеются они на бесплодные земли, в которых были холод и уныние, и в их пустые груди вливают живоносное молоко, от которого пьют зерна соки плодородия и дают нам то, о чем даже в ваших теплых и жирных землях нет помину. Вот посмотри“. И указал мужик тот Кудыму на тучные нивы да луга, и вдохнули они оба полной грудью аромат ядреных поспевающих хлебов...

И подумал Кудым: „А у нас? Запрягает пермяк жен своих и детей в упряжку из виц, а сквозь вицы-то продет кол, на колу том — единая малая железка, которая режет в земле тонкую нить. И в нить ту, зерно за зерном, укладываем мы драгоценное жито. В мучениях созревает оно и единое зерно дает нам и пять и шесть, из которых детям идет половина, а другая — на бражное зелье, на выброс. Палит пермяк проплеши в борах и корчует могутные корни до кровавого поту и взрывает освобожденную землю-мать каменной тупой¹ и кладет с деревяжки² кудельное семя³, из которого стебли идут на тканье изгреби⁴, на шабуры вождям, да матерям, да укосам⁵. А все молодые одеваются в шкуры звериные, а девушки наши стегают себе починки⁶ из пленки подшкурной. А кругом пылают пожары лесные от палов тех... Нет мысли у коми народа, нет сметки додумать колеса с ножами, да сильного зверя приучить под распашку работать, да согреть землю-мать камнем дробленным и непростыми песками с наговором ведуньи Виджо...“

И сызнава пошел Кудым-Ош к Виджо и баял⁷: „Великая мать! Видел изрядно, как богат народ твой и как пышны плоды трудов его. Опять я умоляю тебя: помоги мне поднять мое племя, дай нам учителя и друга. Чтобы быть у нас и теплым землям, и ядреным лесам, и тучным пажитям. Чтобы не было несчастных, хворых да темных людишек...“

Виджо сказала: „Друг твой будет с тобою и с народом твоим и сызнава баю тебе: примешь жертву, как муж, пре-

¹ Тупа — мотыга (древне-пермядское слово).

² Деревяжка — первобытный деревянный совок.

³ Кудельное семя — льняное семя (др.-русское слово).

⁴ Тканье изгреби — грубая бумажная ткань (перм. слово).

⁵ Укос — престарелый человек (древне-пермядское слово).

⁶ Починок — женская рубаха из замши.

⁷ Баять — говорить.

одолеешь противность жены, от которой взрастится семя твое великое да прекрасное“.

ВОГУЛЬСКИЙ ВОЖДЬ МАН-НЬЯЫСС

И, зная, что Кудым принесет себя в жертву своему народу, что крепко слово его, как кремневый кирвец, хлопнула Виджо ладонями и сказала вошедшему по зову: „Снаряди-кось, Ваяси¹, в путь с Кудымом за Тоссемь-гору, за Ялпынь-нэр, в то могучное царство, где томится царевна. И скажи отцу ее, великому вождю Ман-Ньяыссу, что пришел с тобой тот человек, который возьмет царевну в жены и увезет ее в свой край на извечно“.

Пошли Кудым-Ош и Ваяси на восход и шли долгие дни и короткие ночи. Вторая луна завершала свой круг, когда подошли они к каменным кручам Тоссемь-Горы. Их окружили темные кудлатые люди, коренастые, сильные, и с ними заговорил Ваяси на их родном языке. Они повели их к великому вождю Ман-Ньяыссу. Оглядел Ман Кудыма зоркими очами из-под густых нависших бровей и сказал: „Ово, Кудым. Такой красивый мужик не позарится на товар, что припасен у меня в каменных керках² моих. Но упреждаю тебя, Кудым-Ош, лучше тебе поворотиться вспять, нежели, углядев, отказаться от дочери моей Хэсте, за которой, как слышу, пришел ты ко мне добровольно: царевна до того неприглядна, что даже худородные ось-т-эки³ и парма-эки⁴, увидев ее, без оглядки бежали, и за тот срам дружина моя била их насмерть камнями“.

Отвечал Кудым-Ош: „Я — Кудым-Ош, парма-эк, и народ мой не худородней тебя и твоих. Горечь я слышу и насмешку в словах твоих, но желания мои — выше твоих оскорблений. Я, по совету матери неведомого и богатого народа, пришел к тебе с добрыми намерениями... Я не видел девушки, которую хочу взять себе в жены, но слово мое, как кирвец кремневый, девушка та мне нужна“.

И назначил Ман дочь свою на посмотрины Кудыму, вождю парма-эков, в яркий солнечный день и сказал: „Не надо мне за нее ни даров, ни выкупов, ни торгу, ни шкур, ни меду, ни редких ножей из огненных горнов. Увидишь ее и поймешь, почему из пяти дочерей моих она, единая, осталась без мужа“.

¹ Ваяси — так в древности называли себя манси (вогулы).

² Керка — изба.

³ Ось-т-эки — болотные люди.

⁴ Парма-эки — лесные люди.

ПЯТАЯ ВОГУЛЬСКАЯ ЦАРЕВНА

Приподнял Кудым покрывало из тонкой поджожи молодых олешков, расшитое красно-желтым узором по краю, и глянул в лицо своей названной невесте... Видно, дух Виджо-ведуньи помог ему справиться с собой, да толковый Ваяси ущемил его за локоть, — остался Кудым невозмутимо спокоен... Перед ним стояло слабое подобие человека, безо лба, с огромными ушами сверху до низу лица. Огромная пасть с толстыми дрожащими губами была растянута до ушных мочек, нос был безобразно сплюснут и пара яркокрасных ноздрей трепетала от волнения, и похрапывала царица, как пырьс¹. Беложелтые щеки были покрыты редкими волосками, а круглые темнокарие глаза умоляюще робко глянули в соколиные очи Кудыма. И были глаза те, как у побитой собаки, а еще лучше сказать, — как у издыхающей лошади: кроткие да жалобные. Тело ее было все в подъярковой шкурке.

Но смело отвел жених шкурку ту от тела царицы, и ее щеки густо налились кровью от стыда: тело царицы было кругло-паучье и длинны были ее искривленные ноги с птичьими пальцами. Ман, дружина и Ваяси отвели свои взоры от Кудыма с царицей, и наступила тишина, только пчелы вились и жужжали над цветом медвяным, да тихо всхлипывали старые женщины, приведшие царицу, жалели ее и Кудыма, да вдали, за горою, куковала кукушка.

Опустил не спеша все покрывало и скрыл безобразие невесты своей Кудым-Ош. Стояла она перед ним неподвижно, как бело-желтая бадейка, не шелохнувшись, и на подол покрывала из глаз ее капали крупные слезы.

Шевельнулась жалость в суровом сердце Кудыма, он повернулся, низко поклонился Ману-Ньяыссу, воздев руки к плечам, и спросил: „Где будем свадьбу править, вождь? Здесь ли, с народом твоим, али снарядишь дочь твою в путь со мною в страну коми-парма-эков. Так ли, иначе ли, готовься получить с меня за нее щедрые дары и выкуп, достойный твоего могущества и моей воли“.

Отдал поклон ему Ман со всею дружиной, а ниже всех склонился умный и кроткий Ваяси, потому что глубже всех оценил он ту несравненную жертву, которую Кудым-Ош принес ради блага своего народа.

¹ Пырсь — поросенок.

БРАК КУДЫМА С ВОГУЛЬСКОЙ ЦАРЕВНОЙ

Три дня и три ночи сидел Кудым на взгорье, около брачного шатра, где помещалась царевна Хэсте, дочь Мана, сидел, думу думал и внутрь войти не решался. И на четвертый день на рассвете решился. Втайне лелеял надежду, что познает ее во тьме ночной и в глубоком мраке шатра, чтобы не так было заметно ее безобразие. Одна мысль о лице и статях жены отбивала у Кудыма всякую любовь,—но не было путей отступить. И вошел он в шатер и скинул одежды. И когда обнял он паучье тело царевны могучими своими руками и ее жаркая грудь во тьме прижалась к его груди, в ночи вдруг прозвучали слова Виджо: „Не скрывай любовь свою с ней во мраке, взирай, познавая, в глаза ей и тогда...“ И понял Кудым, что он сам себя обманывает, что жертва неполная, жертва пустая, если он, любя, не увидит всего безобразия Хэсте. И взмолился Кудым Великому Юму¹. Юм услышал моление его и помог ему в трудную минуту: налетели бурные ветры с восхода, притащились тяжелые тучи, сорвали шатер, и огонь небесный запалил его, запылали ярко кустарники и огненные плети стали плескаться по тучам. Дико вскрикнула Хэсте в испуге и вцепилась руками в Кудыма, а он глядел в безобразное лицо жены и изумлялся: когда наступила любовь и царевна стала женой Кудым-Оша в этом вихре огня, мгновенно все черты лица ее изменились — над бровями поднялся прекрасный чистый лоб, смоляной волной вдруг упали на брачное ложе черные волосы, огромная пасть сомкнулась в ярко-алые, невыразимо прелестные губы и за ними, ровными нитями, протянулся жемчуг зубов; огромные отвислые уши сомкнулись и стали малы и красивы, и в руках ощутил Кудым добротное стройное тело, юное и прекрасное тело девичье... И только глаза не изменились, а остались все такими же прекрасно-печальными и кроткими.

Долго и страстно ласкал муж красавицу-жену, и когда наступил рассвет, пришли люди и остановились в изумлении: перед ними стояли Кудым и Хэсте, облеченные в брачные одежды, и все сразу узнали царевну, несмотря на красоту, по глазам, и дивились. И повел Кудым жену свою к ее отцу Ману, который узнал дочь свою по глазам.

„Великий Эстер!— вскричал в изумлении Ман.— Спали злые чары с тебя, дочь моя, и стала ты прекраснее прочих

¹ Юм — бог солнца у древних пермяков.

моих дочерей, и ту злую личину с тебя сорвала любовь и жертва...”

И длились великие пиры и празднества от Каменей до великих рек¹. Так был зачат Пера, коми-пермяцкий богатырь.

РОЖДЕНИЕ ПЕРА

Когда истек срок, чтобы человеку быть рожденным от женщины, все увидели, что Хэсте еще не пришла пора. И сроки зашли за сроки, и матери-старухи сказали: „Необычайный будет твой зонка², великая мать наша. Видно, дали ему Юм да Белеча³ свои особливые сроки рождения...”

Однажды поехал Кудым с дружиной в дальнюю охоту, и осталась Хэсте одна и, когда солнце поднялось над головой, почуяла она пору рождения дитяти и в великих мучениях родила дивного сына одна на один. Когда бремя муки утолилось, взглянула она на рожденное ею дитя и изумилась: в ногах у нее стоял юноша и он с каждым мгновением рос и ширился, и когда согнул шею свою у верхнего венца покоев,— поднял могучие руки почти к кровле...

Взял новорожденный Пера жертвенный каменный топорик, перерубил пуповину, поразмял могутные члены свои, принял свою мать на руки, вынес ее из душной керки на яркое солнце и сказал: „Великая мать, сын твой, тобою рожденный, благодарит тебя за бесценный дар жизни, через тебя полученный”.

Кудым возвратился с дружинниками с охоты и увидел жену свою, лежащую на завалине, и юношу-богатыря, сына своего, рожденного в его отсутствие... Радость и страх, изумление и благоговение переполнили душу отца, сразу понявшего, что прекрасный юноша, перед ним стоящий,— им порожденный повелитель природы, вождь народа.

Пал Кудым ниц перед Пера-богатырем, сыном своим, и протянул ему лук свой и стрелы, свой добрый кирвец и кистень и сложил перед ногами его богатую лесную добычу. И все поклонились Пера-богатырю: скоты и кони, зверье в дремучих лесах, всплыли рыбы к поверхностям вод, птицы летались и, сев на деревьях, запели радостно и стройно. Шумели торжественно сосны и ели, кедры да пихты, звенели листочками осины и березки.

¹ Великие реки — Кама, Волга, Печора.

² Зонка — мальчик (сын).

³ Белеча — древне-пермяцкая богиня домашнего очага и огня.

А он стоял нагой, светлобронзовый, юный и могучий, — Пера-богатырь и, подобно великому Юму, благосклонно ласкал светлыми глазами своими земное великолепие, в которое только что вошел.

Записал А. Крутецкий

ДЕНЬ В КУДЫМКАРЕ

В Кудымкар¹ со станции мы выехали к вечеру. Автомобиль легко бежал по широкому, ровному шоссе. По обеим сторонам его часто вырастали ели и пушистые пихты. Каза-лось, — они выбегают нам навстречу, потом, остановившись на секунду, бегут назад, и тонут в сумерках.

Наш шофер то и дело нажимал грушу гудка. Мимо все время проносились грузовые машины, спешившие, как видно, к станции.

Изредка нас легонько встряхивало и тогда шофер ругался и нехотя уменьшал ход.

— Осень... — ворчал он. — Летом хоть 60 километров в час давай — никакого отказа.

Вместе с нами в Кудымкар ехал местный врач Калашников, возвращавшийся из Москвы с курсов врачей.

Он был полон новых впечатлений и с увлечением говорил о расширении кудымкарской больницы, о том, что он — врач-рентгенолог — теперь сможет лечить туберкулез.

Когда впереди показались огоньки города, Калашников замечательно заволновался.

— Быть может, вы не поверите, но я, честное слово, сторожковался по своей больнице. Ведь целый месяц ее не видел. Как-то у них дела. Когда я уезжал, больницу переводили в новое здание. Некоторые знакомые спрашивали меня в Москве: как вы живете в этом самом Кудымкаре? Да ведь это же, — говорили мне, — немыслимая глушь, где-то у чорта на куличиках. Там у вас, должно быть, медведи прямо в больницу заходят. — Я пытался доказать им, насколько ошибочно такое мнение о Кудымкаре. Не верят, знаете ли, некоторые. Пожимают плечами и никак не верят! А какая у нас глушь, если отъездом на ездз от Кудымкара до станции требуется толь-
ко...

¹ Центр Коми-Пермяцкого национального округа.

Калашников подумал, потом нагнулся через спинку сидения к шоферу.

— Вася, сколько времени тебе нужно на эту дорогу летом?

— Полтора часа, — ответил шофер. — Полтора часа от силы...

— Видите? — горячо продолжал Калашников. — Полтора часа. Ну, осенью, конечно, два часа проедешь. Но ведь и это — немного. Когда я в первый раз приехал сюда и здесь еще не было этого шоссе, я ехал со станции до Кудымкара трое суток. А теперь вы сами видите, как изменилось дело. И так во всем, за что ни возьмись — везде перемены. А мне говорят: глушь!

Калашников достал папиросы, закурил и, выпустив струю дыма, усмехнулся.

— Глушь! Хороша глушь! — Глушь была при графе Строганове, до революции, когда край был совершенно обездолен и нищ. Вот здесь, где мы едем, вдоль дороги тянулись узенькие полоски земли, так называемые „наделы“. На них коми-пермяки отработывали у Строганова свое право на жизнь. Ужасный был труд. Землю пахали „сабанами“ — этаким допотопным орудием, напоминающим мотыгу... И разве мог даже мечтать тогда край о хорошей дороге. Хорошая дорога была для него недостижимой роскошью. Да что дорога! Роскошью была и простая телега. Села не знали телег: коми-пермяки ездили на волокушах, которые представляли собой нечто среднее между лыжами и кошевкой...

Калашников немного помолчал и снова усмехнулся.

— Глушь! — Вот вы посмотрите, какая это глушь! Работать тут очень интересно. На глазах происходят самые замечательные вещи. Наш врач-онколог пробовал уехать — и что же? Проводили мы его честь-честью, но не прошло и месяца — бац телеграмма: еду обратно. Почему? — Не могу, говорит, привык, привязался. Как бросить работу, которую любишь?.. А посмотрели бы вы, как снизилось число заболеваний трахомой. Раньше этой болезнью тут были поражены целые деревни, а теперь очень многие окончательно вылечились, и новые заболевания — большая редкость. Разве можно не заметить этого?

Две полосы света от фонарей автомобиля летели перед нами. Придерживая одной рукой руль, шофер обернулся и попросил спичку.

— Я тоже, — сказал он, — как-то раз подумал: дескать, не уехать ли? Давно это было, лет пять назад, не меньше. Зачем, дескать, здесь шоферы, если на весь Кудымкар один автомобиль,

да и тот, как заморенная кляча... И что же вы думаете? Года не прошло, как появились автомобили самой новейшей марки. А теперь в Кудымкаре 115 автомобилей. И дорогу построили — в хорошую погоду одно удовольствие ездить по такой дороге...

Мы въехали на холм, впереди засверкали огни Кудымкара. Через несколько минут шофер высадил нас у крыльца Дома колхозника.

* * *

Осенний день занимался медленно. Мы поднялись на гору к зданию театра, откуда виден весь Кудымкар. Перед нами раскрылись широкие улицы. Мы увидели большие двухэтажные дома, палисадники и вдали над садом силуэт парашютной вышки.

— Сколько жителей в вашем городе? — спросили мы председателя окрисполкома.

— Пять лет назад было полторы тысячи, а теперь 13 тысяч человек, — ответил он улыбаясь. — Мы построили за это время театр, кино-театр, несколько школ, тротуары сделали, мостовые — всего и не перечислишь, сколько построено. Что осталось в Кудымкаре от села?..

Снизу, из поселка, доносился размеренный рокот трактора и стук молотков.

— Это на стройке Дома советов, — сказал председатель. — Стройка у нас большая: только в 1936 году мы вложили в нее 2500 тысяч рублей. Строим Дом советов, библиотеку, новую электростанцию, Дом партактива...

Несколько лет назад этот товарищ был председателем сельсовета, сейчас он — председатель окрисполкома. Как много перемен произошло за эти годы!

— Надо сказать, чтобы расширили настил перед театром, — заметил председатель, — хозяйским взглядом окидывая подъезд театра. — С грязью у нас идет отчаянная борьба. Воюем! Город стоит на глине, а глина — она дает себя знать. Когда не было мостовых, автомобиль никак не мог проехать по Кудымкару... А теперь, как видите, имеем целую автобазу.

День разгорался. Мы пошли по улицам города, чтобы посмотреть, как живет Кудымкар, который до революции был маленьким захолустным селом, как живет центр Коми-Пермяцкого национального округа, где когда-то хозяйничали приказчики графа Строганова?..

Мы зашли в универмаг. Заведующий универмагом что-то объяснял двум колхозникам. Те, видимо, на чем-то настаивали, а заведующий сокрушенно разводил руками.

— Только сейчас продал последний комплект, — говорил он. — Сию минуту! Где я вам возьму еще один?

Разговор шел о комплектах оборудования для колхозных парикмахерских. Два дня назад окрпотребсоюз получил 50 таких комплектов. Взяли на пробу, думая, что, может быть, они пойдут нехотко. Какое там! Их раскупили сразу!

— Нам 180 километров надо ехать обратно в Гайны, понимаешь? — говорили они. — Как мы поедем без комплекта?

В магазин вошел председатель окрпотребсоюза.

— Видели, как напирают, а? — спросил он нас. — Смотреть приятно, честное слово. Очень ходко идут у нас товары культурного обихода! Только давай товары, только давай.

В портфеле председателя оказалась интересная сводка. Оказывается, рост благосостояния в округе самым убедительным образом отразился на товарообороте. В 1936 году по сравнению с 33 годом кондитерских изделий было продано больше в $3\frac{1}{2}$ раза, тканей и сукон — в 10 раз, предметов санитарии и гигиены — в 17 раз.

Пока мы выписывали эти цифры, спор между колхозниками и завмагом был разрешен. Выяснилось, что завмаг припас комплект для одного председателя колхоза, который заходил раньше и просил оставить. Этот комплект пришлось отдать колхозникам из Гайн.

— Уж очень настойчивый народ, — сказал завмагом, когда они ушли с покупкой. — А что я теперь, спрашивается, этому председателю скажу? Заест он меня, честное слово.

Из универмага мы направились в новую школу.

В передней школы около барьерчика лежала целая гора детской обуви.

— В чем дело? Зачем сюда попала обувь?

— Как зачем? — в свою очередь удивилась дежурная по раздевальне. — Разве можно осенью идти в классы в тех сапогах, в которых ты только что пришел с улицы? Ребята переобуваются и идут в классы в чистой обуви.

Действительно, во всей школе было очень чисто. Ребята любят и уважают свою школу — это было видно по всему.

Из классов доносились в коридор звонкие голоса детворы, отвечавшей на родном коми-пермяцком языке на вопросы учителей.

До революции во всем округе не было на национальном языке ни одной книги, кроме псалтыря,—говорил нам председатель,—почти не было и грамотных, а теперь коми-пермяки грамотны на 92 процента.

У подъезда мы встретились с колхозником Архиповым из села Белоево. Он шел к заведующей школой за материалами для диаграмм.

В Белоеве летом 1936 года построили школу. Построили в рекордно-короткий срок—в два месяца. Колхозники сами заготавливали лес, сами привезли его в свое село и потом каждый день следили, как идет строительство, как отделяется помещение школы. Все это, надо заметить, происходило во время самых горячих полевых работ.

Тяга к образованию среди коми-пермяков очень велика. С каждым годом эта тяга все больше и больше растет.

Позднее в писчебумажном магазине мы познакомились с коми-пермячкой колхозницей Климовой из Кекурского колхоза. Она пришла в магазин за тетрадкой. Безрадостным и тяжелым было детство Климовой. Ее отец, имевший большую семью, никогда не имел вдоволь хлеба для всех и никто из его детей не мог учиться.

В прошлом году Климова стала учиться в школе для взрослых. Теперь она уже свободно читает газеты, сама пишет письма своим родным, и в тот день, когда мы ее встретили, записалась в библиотеку.

Не только в Кудымкаре, но и во всех селах и отдаленных таежных коми-пермяцких деревнях округа все дети охвачены учебой. Многие деревни, как рассказывали нам, теперь стали деревнями сплошной грамотности. В деревне Чугово, например, до революции не было ни одного грамотного, и если нужно было кому-нибудь написать письмо или жалобу, то чуговцы шли за десятки верст в Кудымкар. Теперь же в этой деревне ликвидировали совсем неграмотность, все выписывают газеты. Шесть человек из Чугова учатся в средних учебных заведениях.

Тов. Голев—техник окружного земельного управления—рассказал нам о своей деревне Козлово. Все его земляки тоже овладели грамотой.—У Голева три брата. Они—сыновья бедняка, который до революции батрачил у кулаков. В те времена ему, конечно, даже не приходилось мечтать о грамоте. А сейчас старик окончил школу ликбеза. Его четыре сына получили среднее образование и работают на руководящей работе в Кудымкаре.

Стрелка часов подвигалась к 12. Главного врача кудымкарской больницы Коркина мы застали в то время, когда он собирался делать обход больницы.

Коркин пригласил нас присоединиться к нему. Мы охотно согласились. Нас заставили надеть белые халаты и мягкие туфли. По пути Коркин рассказывал нам о своей работе, о состоянии здравоохранения в округе.

До революции здесь знали только одного фельдшера, а сейчас же в округе 30 врачей и около 60 фельдшеров. В районных центрах созданы свои больницы, крупные села имеют хорошие медицинские пункты. Коми-Пермяцкий округ не только сумел обеспечить себя медицинскими кадрами, но и выделяет теперь врачей и фельдшеров в другие районы Свердловской области.

Из больницы мы отправились к старшему агроному окрземотдела — инициатору внедрения огородничества. Дело это в округе новое. Два-три года назад на огородах коми-пермяков росли только редиска да капуста, а нынче здесь выращивают отличные огурцы, помидоры, тыкву и даже арбузы и дыни.

— Сегодня вечером я собираюсь съездить в Юринский колхоз, — сказал агроном. — Я взял шефство над этим колхозом. На его примере я хочу показать всем, какой большой доход может дать огородничество. В 1936 году мы получили помидоры раньше, чем их получил Свердловск. Юринскому колхозу уже в первом году свой огород дал 50 тыс. рублей прибыли...

...К концу дня мы побывали на местном аэродроме и наблюдали там буксировку планера аэропланом.

На большой высоте планер отцепился от аэроплана, трос полетел вниз. Планер долго кружился над аэродромом, спускаясь все ниже и ниже. Он был похож на серебряного ястреба, парящего в небе в поисках добычи.

Мы любовались его полетом, восхищались искусством планериста.

Когда планер опустился на аэродром и, мягко проскользив по земле, остановился недалеко от нас, вместе с другими мы подбежали к нему.

Нас познакомили с улыбающейся Чечулиной — одной из первых планеристок Кудымкара...

В этом факте перед нами снова встала многообразная и яркая жизнь нового города. Кроме Чечулиной, здесь есть еще 37 планеристов.

Вечером из тира доносятся сухие отрывистые звуки выстрелов. Там кудымкарцы упражняются в стрельбе. В клубах артелей и колхозов занимаются кружки противовоздушной и противохимической обороны. На луг за Кудымкаром выезжают ворошиловские кавалеристы...

На улице имени Ленина нас познакомили с Володей Токмяниным. Он бережно нес на детскую техническую станцию свернутые в трубку чертежи будущей авиомодели.

Еще в 1935 году ни Володя, ни другие кудымкарские ребята не знали, как делать летающую модель. И вот однажды группу отличников учебы послали в Свердловск. Там ребята побывали на соревнованиях авиомodelистов и в первый раз увидели, как миниатюрные самолеты, сделанные из бумаги и фанеры, легко поднимаются в воздух.

— Что это такое?

— Это авиомодели, — рассказали ребятам свердловские школьники. — Разве вы их у себя не делаете?

Володя вернулся в Кудымкар взбудораженный. Как же так, в Свердловске делают модели, а они не умеют? Во всем Кудымкаре ребята заговорили об этом. Вскоре в поселке открылась детская техническая станция. Володя был ее первым авиомodelистом. Он нашел в журналах чертежи моделей и вместе с ребятами организовал кружок.

На следующий год Володя стал в Кудымкаре знаменитостью. Его модель заняла первое место на областных соревнованиях, пролетев безостановочно более семи километров...

Теперь вместе с Володей в кружках детской технической станции занимаются 230 ребят. Они не только делают модели, но изучают мотор, конструируют радиоприемники, занимаются фотографией.

...Мы решили зайти еще в лесной техникум — один из четырех техникумов Кудымкара. Сторож сказал нам, что занятия в техникуме кончились, и мы хотели уже повернуть обратно, но нас остановил доносившийся из техникума веселый говор:

— А что там за собрание? — спросили мы.

— Это не собрание, — ответил сторож. — После студентов взрослые у нас еще занимаются, школа взрослых...

Мы прошли наверх и встретились в учительской с еще одним замечательным человеком Кудымкара — учительницей Таракановой. 33 года бесменно работает она в Кудымкаре. Все знают, все любят старую учительницу. Сотни ребят она выучила грамоте, отправила в средние и высшие учебные за-

ведения. В 1931 году к ней обратилось несколько человек, окончивших ликбез.

— Мы закончили занятия в своих пунктах, — сказали они. — Мы можем читать и писать, но этого нам недостаточно, мы хотим учиться дальше. По своему возрасту мы не можем попасть в техникум. Что нам делать?

Тараканова нашла выход. Она организовала школу взрослых. Долгое время школа не имела специального помещения, и заниматься приходилось урывками — то в одном учреждении, то в другом. Но школа росла, все новые и новые учащиеся приходили к Таракановой, и сейчас этой школой заслуженно гордится Кудымкар. 500 рабочих и колхозников в вечерние часы каждый день занимаются в помещении лесного техникума.

...Сгустились сумерки. Нас пригласили в местный национальный театр.

* * *

В театре шел „Разгром“. Зал был полон.

Медленно пополз в сторону кумачевый занавес. На сцену упали снопы света из прожекторов.

Кудымкарские артисты играли на своем национальном языке. Играли очень не плохо: и мимика, и жесты блестяще выражали содержание этой интересной пьесы.

Но нас больше заинтересовал сам зрительный зал. Каждый жест, каждое слово актера вызывало ответное движение в зале, шум, смех, рукоплескания. Сидевший рядом с нами белокурый человек в новом сером костюме несколько раз вскакивал с своего места и кричал:

— Браво Максиму!

Зал подхватывал эти слова, и долгие аплодисменты награждали артиста, игравшего роль Годуна.

— Это наш односельчанин, — сообщил нам сосед, — Максим Нешатаев! Как же тут не хлопать Максиму? Честное слово, я бы ни за что не узнал, что это он, если бы мне не сказали. А ведь я помню, как мы его провожали учиться. С гармоникой провожали, с песнями.

Все артисты кудымкарского театра — коми-пермяки. Их вырастил, воспитал, послал на сцену Коми-Пермяцкий округ. Вот почему так восторженно воспринимают зрители игру своих артистов, вот почему такие бурные аплодисменты награждают сына батрака Максима Нешатаева, воспитанницу детского дома

Бузмакову, бывшую уборщицу Кузнецову, сына бедняка Старцева и других артистов театра.

— Когда мы решили создать театр,— говорил нам его директор Ярков,— у нас не было буквально ничего: ни помещения, ни артистов, ни режиссера, ни пьесы... Национальный театр!.. Когда впервые были произнесены эти слова — многим это показалось чем-то несбыточным, недостижимым. Театр!.. Ведь для него нужны национальные артисты, а где их возьмешь в округе, если ни в одном селе никогда даже не слышали слова „спектакль“?

Мысль о театре зародилась на „коми-рытах“, — так назывались у нас вечера народного творчества. Я сам еще мальчиком участвовал в этих вечерах. Пели, танцевали, играли, кто-нибудь декламировал стихи. Стихи, скажу прямо, были неважные, но хлопали дружно и всегда требовали повторения.

В 1931 году к нам приехала русская театральная труппа — первая труппа, заехавшая в Кудымкар! В это время мы и решили создать свой театр. Все нужно было, конечно, создавать самим, создавать с самого начала — с обучения будущих артистов простой грамоте. В июне 1931 года Окроно объявил набор в коми-пермяцкую студию. Во все села были разосланы извещения, при чем разъяснялось, что такое студия, что такое театр и для чего он нужен. Не прошло и недели — начали поступать заявления. Заведующий Окроно читал их и хватался за голову: настолько много было в них грамматических ошибок.

Испытания состоялись осенью. На них пришло 50 человек — парней и девушек. Многие из них — в том числе и Максим Нешатаев — пришли пешком за десятки километров. А проводил испытания режиссер труппы русского театра Оленин. Ну и пришлось же ему потрудиться в тот день! Он не знал коми-пермяцкого языка, а будущие студенты не знали русского. Вот история! Пришлось объясняться при помощи жестов. Оленин заставил парней и девушек открывать форточку, смеяться, плакать, выражать горе... Честное слово, я никогда не забуду, с каким удивлением и страхом смотрели на него многие ребята.

Из 50 человек было отобрано 30. Никаких специфических театральных требований к ним, конечно, предъявлять не пришлось. Просто выбрали самых подвижных, самых способных и начали занятия.

Как занимались? Пожалуй, я не ошибусь, если скажу: ни в

одной театральной студии нашей страны занятия не начинались таким образом, как у нас. Первым делом пришлось засесть за букварь, потому что многие из будущих артистов не умели подписать свою фамилию. Какая уж там мимика! Потом начали учиться читать, и уже постепенно, шаг за шагом, стали овладевать театральным искусством: жестом, мимикой, выразительным чтением. Меня назначили сюда заведывать учебной частью. Я тогда только что окончил педагогический техникум...

Сам я, вы видите, молод. Молоды и все наши артисты. Старшему 25, младшему 17 лет. Словом, у нас здесь собралась одна молодежь. Работали мы, я скажу, ожесточенно, упорно. Разучивали монологи, отрывки из отдельных произведений, сцены из пьес, читали их вслух, поправляли кто как умеет, учились у артистов русского театра...

В 1932 году мы дали первый спектакль в связи с октябрьскими торжествами. Затем, совместно с русским театром, поставили пьесу Микитенко „Светите звезды“.

Это был наш первый экзамен. И режиссер, и его помощник, и вся русская труппа были изумлены. За короткий срок наши ребята добились очень многого. Особенно хорошо играла в тот день Канюкова, которая исполняла роль Котьки. Оленин вместе со всем залом аплодировал дочери партизана, а в антрактах жал нам руки и удивлялся.

27 апреля 1935 года студии сдали государственный экзамен на звание артиста. В этот же день начал работу наш первый в округе национальный театр. С этой пьесой мы выехали в колхозы.

Мне особенно запомнился наш первый приезд в село Верхняя Лупья. Село это находится в 240 километрах от Кудымкара, в глухом таежном лесу. Семь суток мы ехали туда...

Приехав, я сейчас же отправился к председателю сельсовета и сказал ему, что мы хотим ставить спектакль.

— Спектакль? — удивился председатель. — А что это такое?

— Мы будем играть на сцене, — сказал я.

— Во что играть?

Пришлось объяснять все подробно. Выслушав нас, председатель почесал затылок.

— Не знаю что у вас выйдет, — сказал он. — Впрочем, давайте, попробуем.

Через час уже по всему селу было объявлено что вот, дескать, приехали артисты и хотят ставить спектакль...

Наступил вечер, но в зале школы, где мы решили выступать, было всего 5—6 человек. Жители села Верхняя Лупья не хотели смотреть спектакль.

Мы снова разослали людей по избам. Никакого толка! Никто не обращает внимания на уговоры.

Тогда нам пришел на помощь председатель сельсовета. Помощь его была довольно своеобразной. Он объявил по селу, что все должны собраться в школу для важного совещания.

Через час люди собрались, и спектакль начался. Я помню каждую его деталь, помню потому, что меня и всех наших артистов поразила перемена в настроении зала, которая произошла за каких-нибудь 10—15 минут. Никто в селе не знал, что такое театр, и нас встретили с недоверием и даже некоторой долей враждебности. Но уже через несколько минут у всех изменилось настроение. Зал бурно хлопал артистам. Многие поднимались со своих мест и просили слова, чтобы дополнить сказанное артистами, а когда мы закончили спектакль, — нас буквально не выпускали из школы, где ставился спектакль.

— Еще! — кричал зал. — Давайте еще!

Я вышел на импровизированную сцену.

— Товарищи, мы устали, надо отдохнуть, — сказал я. Но зал и слушать не хотел. Все поднялись со своих мест и требовали повторения спектакля. Пришлось начать все сначала, а после организовать коллективное пение.

Поздно вечером, когда все, удовлетворенные, разошлись по домам, колхозники притащили в школу, где мы остановились, две бараньи туши, ведро с медом, несколько банок сметаны и устроили нам отличный ужин.

Провожало нас все село. Парни играли на гармониях, в гривы лошадей были вплетены шелковые ленты, и колхозный сторож в честь нас бил в колокол дома правления колхоза...

Так было в селе Верхняя Лупья. Так бывало везде, куда приезжал театр. За короткое время мы, — я говорю не хвастаясь, — приобрели огромную популярность. Лесорубы участка Лачь-сай, районный центр Коса, село Гайны — везде нас ждут с нетерпением, везде просят задержаться подольше, везде приглашают приезжать снова.

И мы ездим. Мы никогда не отказываемся от приглашений, мы едем в любую погоду, потому что любим свое дело, любим свой народ, который вырастил и воспитал нас, и гордимся тем, что театр делает большое культурное дело.

...До глубокой ночи продолжалась беседа. Ярков рассказывал нам о том, как бывшая воспитанница детдома Бузмакова изучает Шекспира. О том, как работают местные писатели Лихачев и Караваев над переводами пьес. О том, что ежедневно в театр обращаются колхозники с просьбой помочь им в организации кружков художественной самодеятельности. О том, что все больше и больше драматических, струнных, хоровых кружков возникает в самых отдаленных уголках Коми-Пермяцкого округа.

Как вырос, как изменился этот край! Есть о чем петь, есть чему радоваться. Жизнь распахнулась широко и вольно, и в ее просторах перед коми-пермяцким народом открылось много такого, о чем раньше не смели и мечтать.

Люди, сменившие сабан на трактор и волокуши на автомобиль, жадно потянулись к культуре. Нет больше обездоленного и нищего коми. Есть свободный коми-пермяцкий народ, который получил счастливую жизнь, народ, творческие силы которого неисчерпаемы.

...Мы вышли из театра. Под горой золотой рассыпью блестящих огней Кудымкара. В кино закончился последний сеанс. Толпа людей высыпала на улицу, наполнив ее веселым гулом и смехом. Кудымкарский радиоузел транслировал танцевальную музыку из Москвы...

И. Краев.

ПИ СЪЕМО КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАРОДА ВОЖДЮ НАРОДОВ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ¹

Дорогой наш вождь, учитель, друг, Иосиф Виссарионович!

От тех краев, где омывает Кама
Бескрайные таежные леса,
Где бьют волной в крутой прибрежный камень
Сплавные реки Иньва и Коса,
Где наш Урал, отчизны самородок,
Камнями-самоцветами горит,
Где доблесть возрожденного народа
По-новому дерзает и творит.

¹ Письмо это впервые было напечатано в газете „Уральский рабочий“ 6 октября 1936 г.

От некогда заброшенного края,
Забытого, глухого, как погост,
Где жил народ, от рабства вымирая,
Не видя солнца и счастливых звезд.

От тех краев, где плакать перестали,
Где новой жизни льется яркий свет —
Любимый Сталин, дорогой наш Сталин,
Прими от Коми пламенный привет!

Как нам молчать, когда нависли тучи
И горизонт в пороховом дыму,
Как нам молчать, когда клубок гадючий
Подкрадывался к сердцу твоему?!

Тебя, отец великого народа,
Соратников прославленных твоих
Убить хотела подлая порода,
Фашистскую отраву затаив.

Из гневных сел, знаменами обвитых,
Мы выносили приговор суда —
Собачья смерть фашистам ядовитым!
Отныне и вовеки, навсегда!

Любимый Сталин, дорогой наш Сталин,
И пальцем тронуть не дадим тебя.
Любимый Сталин — дон¹ мян² Сталин,
Как можно лучше береги себя.

Ты мян олан³ — жизнь, источник света,
Ты наше сердце, крепкое в бою.
И как забыть нам ласковую эту
Улыбку задушевную твою!

Мы бьем врагов, рука у нас не дрогнет,
Мы все равно с победою пройдем
Счастливой туйэн — солнечной дорогой,
Указанной прозорливым вождем.

Мы прожитое горе проклинаем,
Мученье беспросветной нищеты.
Когда и где — не помним мы, не знаем,
Чтоб зацвели радости цветы.

¹ Дорогой.

² Наш.

³ Жизнь

Нам вековую не забыть обиду,
На память в сердце каждый приберег,
Как царь некоронованный Демидов
И Строганов в бараний гнули рог.

Владетели лесов, земель и вотчин —
Хозяева народного добра,
Урядник, поп, помещик и заводчик
Жирели, счастье наше отобрав.

В родном краю для нас когда-то были
Чужими земли, воды и леса.
И если вспомнишь, как мы прежде жили,
Покатится горячая слеза.

Пришел Октябрь — и кончились напасти.
Нужда и горе канули навек,
Он край наполнил радостью и счастьем
И пробудился мортыс — человек.

Здесь прозябали Пилы и Сысойки¹,
Нужду и горе поровну деля,
Но золотые сталинские зори
Ворвались в ночь, — и зацвела земля!

В сердца людей, в таежные глубины
Ворвалось солнце. Это солнце — ты,
Любимый вождь, учитель наш любимый,
Ты вывел нас из мрака нищеты.

Ты повелел народам породниться,
Прославленная дружба дорога,
И мы за нерушимые границы
Отбросили разбитого врага.

Ты нас повел. Покорена природа,
А с ней и враг заклятый покорен.
У Коми — возрожденного народа —
Немало героических имен.

Средь них орденосеи Кашин Павел,
Он не щадил в атаках никого,
Он родину победами прославил,
А родина прославила его.

Он шел по Дону, по кубанским взгорьям,
И рядом с ним донбасский углекоп —

¹ Герои из повести Ф. М. Решетникова — „Подлипавцы“.

Отбрасывали Врангеля за море
И славой покрывали Перекоп.

Из края в край промчались по Уралу
И по Сибири гнали Колчака.

Разбитого наймита-адмирала
До Ангары, до льдов, до тупика!

О том, как за отвагу, за дерзання
Герои получили ордена,
Слагаем мы чудесные сказання
И помним дорогие имена.

Идем — руководимые тобою,
Биеньем сердца чувствуя Москву,
Теперь над нами небо голубое,
Цветы социализма наяву.

В густых лесах, на реках лесосплава
И на полях, где вспахана земля,
Героям нашим говорим мы — слава!
И слава капитану корабля!

Так мы живем! Свободно и легко нам,
И видим мы народа торжество
За каждым словом нового закона,
За золотыми строками его.

Любой из нас закон твой разделяет,
С любовью принимая до конца.
Не он ли человека окрыляет
И наполняет гордостью сердца?!

И все мы Конституцию читали,
Она проникла в дальние края,
Воспета в ней твоя эпоха, Сталин,
И мудрость гениальная твоя!

* * *

Бедняк имел когда-то только право,
В нужде теряя молодость свою,
За грош работать на хозяев сплава,
Терпеть нужду в безрадостном краю.

полях стояли межи сторожами,
Чтоб не сбежали горе и нужда.

И матери печальные рожали
Невольников тяжелого труда.

Мы спины гнули перед кулаками,
И, в гневе уходя от их дверей,
Мы ненависть лелеяли веками
За слезы наших жен и матерей.

И ты для Коми айся¹ стал роднее,
Дороже хлеба, солнца, би — огня.
В лесах тайги твои колхозы зреют,
В густых лесах твои слова звенят.

И нет для нас дороже и любимей
Из тысячи прославленных имен,
Чем солнечное ленинское имя
И имя лучезарное твое.

Мы справились с проклятой нищетой,
Посевы увеличили втрое,
Пшеницы — шогди море золотое
Волнуется в колхозной стороне.

Далекie Кудымкар, Юрла, Гайны
Колхозам шлют счастливейшую весть:
Пришли в поля из города комбайны —
Их тридцать шесть, а тракторов — не счесть.

У нас уже пшеница спорит с рожью,
Сданы в музей сабан и борона
И даже вековому бездорожью
Объявлена последняя война.

Для наших грузовых автомобилей,
Во всей его невиданной красе,
Мы сквозь леса глухие проложили
Пятьсоткилометровое шоссе.

Корчем пни, дороги прорубаем,
За первенство мы боремся по льну,
Комбайнами посевы убираем,
Шулялам² тракторами целину.

Мы обещанье шлем тебе в столицу,
Наказами твоими дорожа,

¹ Отец.

² Образное выражение, обозначающее „разрезаем“.

Все сделать для того, чтобы добиться
В семь-восемь миллиардов урожай.

В колхозах наших будет изобилье,
Здесь будет чаша полная — тырдоз.
Нужду свою мы в Каме утопили,
Ей все дороги заперты в колхоз.

Мы раньше мясо — яй видали редко,
Нам хлеба нехватало до зимы,
Нам пищей были лук, капуста, редька —
Так голодали, так страдали мы.

На Вельве, Иньве, Каме, на Исыле
Коми-пермяк без горести живет —
Здесь квас и редьку мясом заменили
И вместо лука — яблоки и мед.

Колхозный край наш зажил по-иному,
Преображенный радостным трудом.
Здесь крыши тесом крыты — не соломой,
И счастье дверь открыло в каждый дом.

Впервой о счастье в сыланкылын — песне
Здесь молодежь веселая поет.
Оно ведет к победам повсеместно
Коми-пермяцкий радостный народ.

На заливных лугах наш скот пасется,
Ему мы всю заботу отдаем.
Нам знамя дали за животноводство,
Мы первыми по области идем.

У нас растут герои ежечасно,
Их славит весь наш коми йэз — народ,
Они свой труд восприняли, как счастье,
Которое никто не отберет.

Можаевой и Кате Петуховой,
Героям нашим, дали ордена —
Одной за то, что свиньи все здоровы,
Что их любовно пестует она.

К тебе в Москву поехала Можаева
И орденом была награждена
За качество льняного урожая,
За будущую крепость волокна.

По их следам проходят твердым шагом
Льноводы, пчеловоды, сторожа,
Чьей доблестной работой и отвагой
Заслуженно в колхозах дорожат.

Рискуя жизнью, отбивает стадо
Пастух колхозный Мальцев от врагов —
И вот тогда достойною наградой
Колхозники отметили его.

Когда-то Брагин, по привычке древней,
Сабаном землю жесткую пахал.
А вот теперь он первым из деревни
Сел на комбайн и взялся за штурвал.

Пономарева славили поэты
В своих простых и искренних стихах —
Ведь это он за нынешнее лето
Семьсот гектар на тракторе вспахал.

Охвачены одним желанием все мы,
У нас мечтает каждый человек,
Чтоб расцвела, как горадзюль¹ весенний
Страна лесов и полноводных рек.

Широк наш край, — раздолье зверобоям,
Леса стеной теснятся у реки,
И в запань, соревнуясь меж собою,
Баграми бревна гонят сплавщики.

Сосна качает гордою вершиной,
Шуршит листва березы под дождем.
В леса идут тяжелые машины —
Они сюда направлены вождем.

Есть полтора, а будет два миллиона —
Дано фестметров в будущем году,
И почесть воздают в лесах зеленых
Стахановскому славному труду.

Пила лучковая в лесу запела,
Вошел в тайгу индустриальный гуд —
Тридцать четыре „сталинца“ умело
Стахановцы за бревнами ведут.

А лесорубы, в группы собираясь,
Идут в тайгу — и дрогнула тайга.

¹ Весенний цветок.

Пила звенит, в стволы дерев врезаясь,
Пожум — сосна склоняется к ногам.

Анфалов здесь работает отменно,—
Об этом знает каждое село,—
До двадцати фестметров он за смену
Разделявал лучковой пилой.

В семь раз была им норма перекрыта,
И слава полетела по лесам.
Десятки лесорубов знаменитых
Поехали учиться чудесам.

Он из чудес совсем не делал тайны
И с каждым от души поговорил.
И вот уже стахановец Чугайнов
В пять раз свое задание перекрыл.

Стеной лесов тайга от нас не скроет,
Не может скрыть и половодье рек,
Прекрасных дел стахановцев-героев,
Чьи имена запомнятся на век.

* * *

Там, где по Иньве, по Куве, по Каме
Гудит волна меж берегов косых,
Был, словно клад, тяжелыми замками
Закрит народа нашего язык.

А вот теперь мы Пушкина читаем
На языке родном, в родном краю.
И в песнях, и в легендах воспеваем
И партию, и родину свою.

Захваченные жизни половодьем,
Содружеством народностей горды,
Мы на язык родимый переводим
И Ленина и Сталина труды.

„Пермяк — солены уши“ — было имя
Для загнанных в дремучие леса
„...И все глупы, бездарны между ними“
О нас „ученый“ Рогов написал.

Была нужда нам издавна знакома
И сколько горя каждый перенес —

Глаза слепила синвилян — трахома
И легкие сгрызал туберкулез.

Знахарка — „тэдись“ словом наговорным,
Чтоб немочь на другого перешла,
Лечила нас в избе курной и черной
И ночью сотворяла „черэшлан“¹.

Как будто притаившиеся звери,
Стояли от реки и до реки
И раскрывали кованые двери
Сто тридцать пять церквей и кабаки.

Но Коми край теперь культуры полон,
Вот возрожденья нашего плоды:
Четыре техникума, совпартшкола,
Больницы, клубы, детские сады.

С ночами принужденные родниться,
Ослепшие когда-то, старики
Теперь прозрели в солнечных больницах
И старости, и смерти вопреки.

И если смерть больному угрожает,
В далекие таяжные углы
И Вилесов и Коркин вылетают
На самолетах быстрых, как орлы.

Учитель Фирсов, рук не покладая,
Горит в работе сорок семь годов,
Чтоб вырастала юность золотая,
Еще работать столько же готов!

Нас хлебом жеваным кормили в детстве,
Поили брагой вместо молока,
Мы сбросили проклятое наследство,
Давившее нас долгие века.

И все увидев зоркими глазами,
С улыбкой человеческой своей,
Навек осыпал светлыми цветами
Ты детство наших юных сыновей.

Студенты, агрономы, звероводы,
Твоей страны родные сыновья,

¹ „Черэшлан“ — определение имени святого, от которого исходила болезнь.

Мы покоряем лес, шутьмы¹ и воды,
Глухие бездорожные края.

И страстные народные поэты
Поют о дальней Коми стороне,
О наших днях, о славе и об этом
В твоих глазах негаснущем огне.

А наш театр округе всей известен:
На обновленном Коми языке
О юности, о доблести, о чести
Он ставит пьесы в каждом уголке.

И на просторном новом стадионе,
Где беговых дорожек ровен грунт,
Готовые к труду и к обороне,
Рекорды физкультурники берут.

Кому же мы за все спасибо скажем?
Кто нас повел дорогой столбовой?
Кто тучи разорвал над краем нашим?
Кто солнце дня зажег над головой?

Все это сделал ты, любимый Сталин,
Заботливый, великий, дорогой;
Мы под твоим присмотром вырастали,
Взращенные, как яблони, тобой.

И как отца родного, наши дети
Тебя не позабудут никогда,
Ты — шонди — солнце, лучшее на свете,
Живи, любимый, долгие года!

Фашистов волчью свору обнаружив,
Мы ей пощады не даем в борьбе,
И верное каленое оружие
Мы наготове держим при себе.

Оно при нас. Оно навеки с нами,
Навеки с нами ненависти гром,
И, как в бою прославленное знамя,
Мы жизнь твою, любимый, сбережем.

Ты — наше солнце в центре небосвода,
Ты мудрый вождь стальных большевиков

¹ Зброшенныя поля.

Прими спасибо от всего народа,
Прими привет от коми-пермяков!

Письмо подписали 81 тысяча 473 человека.

Письмо изложили в стихах коми-пермяцкие писатели
Михаил Лихачев, Николай Попов, Степан Караваев.

С коми-пермяцкого языка перевели свердловские поэты
Н. Куштум, В. Занадворов, К. Мурзиди

СОДЕРЖАНИЕ

Народы Северного Урала. Статья В. Пиньжакова	5
--	---

М А Н С И

Из истории манси. Очерк А. Маленького	11
Праздник „хозяина леса“. Рассказ С. Морозова-Уральского	35
Сбор ясака. Рассказ К. Носилова	39
Спектакль в юрте. Отрывок из рассказа Д. Носилова	47
Илюша-охотник. Рассказ А. Смирнова-Сибирского	53
Василий Хатанзеев. Рассказ А. Маленького	58
Оленьими тропами. Рассказ П. Малькова	64

Х А Н Т Ъ

„Счастливая земля“. Повесть А. Климова	69
Хозяин Неунко. Отрывок из повести И. Панова	79
Теперку. Легенда. Записана И. Пановым	92
Город в лесу. Повесть И. Панова	97
Встреча в тундре. Рассказ А. Кадесникова	119
Лампочка Ильича. Рассказ А. Кадесникова	124

Н Е Н Ц Ы

Мангазея — город мехов и слез. Повесть-легенда Ник. Северина	129
Ваули Пиеттомин.— Повесть А. Климова	145
Ядко из рода Сегоев. Рассказ А. Климова	172
Крылатое солнце. Сказание. Записано Ф. Дудоровым	182

КОМИ-ПЕРМЯКИ

Пила и Сысойко. Отрывки из повести Ф. Решетникова	185
Рунноез о Кудым-Оше и его сыне Пера. Записано А. Крутецким	198
День в Кудымкаре. Очерк И. Краева	209
Письмо коми-пермяцкого народа вождю народов товарищу Сталину	220

НАРОДЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА

□

Цена 2 р. 40 к.

□

Редактор **А. А. Сблонский**
Технический редактор **Н. П. Вернер**
Корректор **О. Д. Березина**

□

Сдано в набор 11/II 1937 г. Подписано к печати 10/IV 1937 г. Печатн. л. 14,5. Бум. л. 3,625. Авт. л. 12. Бумага Камской ф. ки. Формат 84×108^{1/32}. Индекс ЭК—Зв. Огиз № 1356. Уполномоченный Свердловобллита Б—969. Тираж 5000.

□

Отпечатано в типографии Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига“. Свердловск, Банковский пер., 3.
Заказ № 245



6

X



225322004
Окружная библиотека

